K64 4/78

В. ВАЛЬДМАН

ВОЙНА

К64 4/78

ИЗД-ВА „КРАСНАЯ ГАЗЕТА“

БИБЛИОТЕКА «ЮНОГО ПРОЛЕТАРИЯ» ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАСНАЯ ГАЗЕТА» 1930

В. С. ВАЛЬДМАН

Б 64 9/78

ВОЙНА

(ВОЙНА 1914—1918 гг. В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ РУССКОЙ И ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ)

497/1

ПРЕДИСЛОВИЕ К. И. ШЕЛАВИНА
ОФОРМЛЕНИЕ В. БРОДСКОГО

БИБЛИОТЕКА
Государ. Историч. Музея
№ 13096
18 " VII 193 1 г.

Типография „Красной Газеты" им. Володарского, Ленинград, Фонтанка, 57.

Ленинградский Областлит № 64933. Заказ № 5486. Тираж 15.000.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий сборник ставит своей задачей дать отображение империалистической войны 1914—1918 гг. в художественной литературе — по преимуществу иностранной.

Международный пролетариат за последние годы второй раз выходит на улицу 1 августа в антивоенный день, протестуя против угрозы будущей империалистической войны и готовящегося нападения на СССР.

Уже прошлогодние выступления в день 1 августа были огромным событием, которое совершенно иначе поставило перед трудящимися массами вопрос о будущей войне, чем это было во времена II Интернационала накануне империалистической бойни 1914—1918 гг.

Тогда II Интернационал выступал с речами „против войны". В Германии такую же работу проделывал центральный орган германской социал-демократии „Форвертс". Одновременно, как это показывают новейшие исследования, и центральное германское правительство и прусское правительство были чрезвычайно точно осведомлены о том, что социал-демократы и находящиеся под их влиянием т. н. „свободные" профсоюзы будут поддерживать империалистическую войну.

В своих воспоминаниях, которые вышли ныне в русском переводе, австрийский министр граф Чернин очень обстоятельно рассказал о роли австрийской социал-демократии в деле подготовки и ведения войны. Наиболее «левая» австро-марксистская социал-демократия также оказывалась за войну и империалистический грабеж в пользу Австрии. Об этом, между прочим, говорит в своих «Мемуарах» и один из вождей германской социал-демократии — Филипп Шейдеман.

Социал-демократия, высказываясь «против войны», на деле сумела мобилизовать миллионные массы рабочего класса и трудящихся как раз в целях империалистической войны.

Т. Бела Кун справедливо отметил в «Правде» (от 1 августа 1930 г.), что «одна из больших исторических заслуг Коммунистического Интернационала заключается в том, что широкие, а в некоторых странах даже широчайшие массы пролетариата уже не могут быть застигнуты врасплох империалистической войной, как это случилось в 1914 году. Теперь 4 августа [1] уже не повторится столь безболезненно для социал-демократии. Это признает даже буржуазия и ее военные литераторы, говоря о Коминтерне».

Со всем тем недооценка военной опасности существовала еще в секциях Коминтерна до последнего времени. По словам т. Эрлико, в Итальянской компартии до 1 августа 1929 г. были такие настроения: одни товарищи говорили, что война облегчит победу над фашизмом, другие заявляли, что партия только срамит себя, говоря постоянно об опасности войны в то время, когда эта война в действительности не приходит. И только 1 августа 1929 г. дало возможность многим итальянским товарищам понять всю ошибочность их взглядов.

Империалистические противоречия в обстановке нарастания мирового кризиса неизбежно обострят опасность возникновения империалистических войн. Свидетельством этому являются обе Гаагские конференции. Подготовка империалистических войн показана и Лондонской конференцией по «ограничению» морских вооружений.

В дальнейшем в связи с развитием и обострением кризиса опасность войны выступает все в более неприкрытом виде. В Англии программа морского министерства предусматривает постройку в течение ближайших шести лет

---

[1] День, когда германская социал-демократическая фракция рейхстага голосовала за военные кредиты, т. е. за империалистическую войну.

27 крейсеров и 12 флотилий истребителей. Палата лордов одобрила предложение об окончании постройки военно-морской базы в Сингапуре не позже 1935 г. По сообщению органа английской компартии «Дели Уоркер», весь флот одной известной судовой компании в 320 больших судов систематически приспособляется для вооружения.

В свою очередь в САСШ морское министерство разрабатывает программу строительства нового военного флота с ассигновкой на эту цель в миллиард долларов.

Отношения между Францией и Италией принимают все более обостренный характер. В Италии укрепляются пограничные с Францией районы. 31 июля в Лионе (Франция) — в ответ на маневры итальянских войск по ту сторону границы — проводились маневры французского воздушного флота. Итальянские войска маневрировали около французской границы, — французские (всех родов оружия) около итальянской границы.

Франция открыто поддерживает Югославию, которая соперничает с Италией в вопросе о господстве на Балканах. У Германии — обостренные отношения с Польшей. В какой мере сильны противоречия между капиталистическими странами в обстановке кризиса, таможенных войн, стремления захватить внешний рынок, видно из последнего опыта создания «аграрной Антанты». Создать такую из Польши, Чехо-Словакии, Румынии и т. д. оказалось совершенно невозможным, ибо капиталистические интересы всех этих стран на время преодолели их общую ненависть к СССР, против которого, собственно, и затеяна была «аграрная Антанта».

Международная социал-демократия в вопросе о будущей войне прежде всего смазывает угрожающую военную опасность.

Секретарь II Интернационала Фридрих Адлер ставит даже под сомнение вопрос о возможности мировой войны и пишет: «Если (курсив наш) *еще раз должна... притти мировая война*» [1]. Для Адлера самый вопрос о возникно-

[1] «Дер Кампф», август 1929 г., с. 365.

вении империалистической войны является «условием» может быть придет, а может быть и нет.

Другой социал-демократический автор Иосиф Странский в статье, посвященной «военно-политической программе социалистического рабочего интернационала» выставил лозунг одновременного разоружения, но вместе с «программой» пришел к выводу, что пока существуют страны, где нет демократии, т. е. СССР, главное препятствие ко всеобщему разоружению представляет как раз Советская Россия [1].

Брюссельский конгресс II Интернационала, происходивший в 1928 году, имел своей задачей внушить миллионам трудящихся масс, что военная опасность может быть устранена такими учреждениями, как Лига Наций или «пакт Келлога». На самом конгрессе «левый» австромарксист, а ныне социал-фашист Отто Бауер заявлял, что «коммунисты спекулируют на войне».

Международный социал-фашизм всячески отвлекает внимание масс от угрозы новой империалистической войны, и в то же время социал-демократические партии разных стран выработали уже свои «военные программы».

Программа германской социал-демократии по военному вопросу, принятая на партийном съезде в Магдебурге в 1929 году, вся проникнута духом «обороны отечества». Во время дискуссии перед съездом «левые» социал-демократы выставили свою программу, в которой, главным образом, говорилось о разрешении международных споров и конфликтов путем «международного арбитража» или международного третейского суда. Это—та же самая Лига Наций и по сути то же самое, что говорит и официальное большинство партий II Интернационала.

Если социал-фашисты сознательно затушевывают опасность новой империалистической войны, то тем более они стараются доказать, что большевики спекулируют на капиталистической интервенции против СССР.

---

[1] «Дер-Кампф», май 1928 г., с. 212—217.

В этом отношении снова наиболее любопытны писания «левых» социал-фашистов. Один из их органов писал в разгаре вспыхнувшей в начале 1930 г. антисоветской кампании: «как ни затрудняют Сталин и его креатура социалистическому пролетариату выступления за Россию, его «пролетариата» симпатии принадлежат все же русской революции и России рабочих и крестьян... Не на стороне буржуазии, которая стремится подготовить поражение социализма в Советской России, но в борьбе против московских диктаторов должен социалистический пролетариат построить демократическую Россию рабочих и крестьян» [1].

Официальная социал-демократия утверждает, что никакой интервенции против СССР не предвидится и не подготовляется. Рабочие массы все более начинают понимать истинное положение дел.

Тогда на сцену появляются «левые» социал-фашисты.

Они признают наличность подготовки интервенции. Но они тут же заявляют, что эту интервенцию можно предупредить, с в а л и в «Сталина и московских диктаторов», иначе — свалив коммунистическую партию. Тогда в России снова будет «демократия», за которую уже однажды воевали Корниловы, Уфимская директория, Колчаки, Деникины по указке империалистических хищников Франции, Англии и т. д.

Прошлогоднее и нынешнее 1 августа показали, что среди пролетарских трудящихся масс лозунги превращения империалистической войны в гражданскую, лозунги защиты Советского Союза приобретают все большее распространение. Самой собой было бы неправильным сказать, что эти лозунги у ж е завоевали большинство. Над этим как раз надо поработать секциям Коминтерна. Но не может быть и сравнения между нынешним положением и 1914 годом.

Последняя книга бывшего командующего германским рейхсвером генерала Секта с большой ясностью выявляет боязнь буржуазии и по отношению к а р м и и. Армии, ос-

[1] «Лейпцигер Фольксцейтунг» от 20 февраля 1930 г.

нованной на всеобщей повинности, генерал Сект противопоставляет великолепно обученную и технически снабженную небольшую армию наемников, целиком находящуюся в руках буржуазии. В ряде стран — Польша, Франция Греция — солдаты уже в нескольких случаях продемонстрировали свою солидарность с рабочими и трудящимися.

Это отнюдь не значит, чтобы коммунисты выставляли лозунг «всенародной милиции», — что проделал правый ренегат Брандлер. Но это является признаком совершенно нового положения в настоящее время по сравнению с годами, предшествовавшими империалистической войне.

1 августа н. г. в Германии демонстранты выкинули лозунг: «в будущей войне мы будем красноармейцами». Возможно ли было появление такого лозунга шестнадцать лет назад?

Годы империалистической войны и революции, годы гражданской войны, интервенции, победы Советской России, победоносное строительство социализма в СССР, работа Коминтерна, большевизация компартий, мировой кризис — сделали свое дело. Это надо «записать». Но это ни в малейшей степени не может дать повод к успокоению. Наоборот. Угроза войны и интервенции становится все более действительной.

Победить угнетенные и эксплоатирумые могут лишь укреплением своей организации.

Развернутое социалистическое наступление в СССР, укрепление технической базы, еще большее поднятие боеспособности Красной армии, — с одной стороны, борьба братских компартий за большинство рабочего класса, — с другой стороны,—вот что из империалистической войны или интервенции создаст предпосылки победоносной для пролетариата гражданской войны. И тогда тени всех скошенных пулеметным огнем, задушенных газами, погибших от руки военнополевых судов, которые проходят в этом сборнике, будут отомщены.

К. И. Шелавин

ВОЙНА

ИЗ МАНИФЕСТА БАЗЕЛЬСКОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО КОНГРЕССА 24-25 ноября 1912 г.

«Если война грозит разразиться, то в соответствующих странах рабочий класс и его парламентские представители обязаны сделать, при поддержке объединяющей деятельности Международного социалистического бюро, все, что только могут, чтобы применяя те средства, которые они находят самыми действительными, воспрепятствовать наступлению войны, причем самые эти средства, конечно, различны, смотря по степени обострения классовой борьбы и общей политической ситуации».

«В случае, если война все-таки разразится, социалисты обязаны вмешаться для скорейшего прекращения ее и всемерно использовать вызванный войной экономический и политический кризис, чтобы поднять народ и тем самым ускорить падение господства капитала».

Собр. соч. В. И. Ленина, т. 18, приложения.

ИЗ МАНИФЕСТА ЦК РСДРП от 1 ноября 1914 г.

Превращение современной империалистической войны в гражданскую войну есть единственный правильный пролетарский лозунг, указываемый опытом Коммуны, намеченный Базельской (1912 г.) резолюцией и вытекающий из всех условий империалистической войны между высоко развитыми буржуазными странами. Как бы ни казались велики трудности такого превращения в ту или иную минуту, социалисты никогда не откажутся от систематической, настойчивой, неуклонной подготовительной работы в этом направлении, раз война стала фактом.

Только на этом пути пролетариат сможет вырваться из своей зависимости от шовинистской буржуазии и, в той или иной форме, более или менее быстро, сделать решительные шаги по пути к действительной свободе народов и по пути к социализму.

Да здравствует международное братство рабочих против шовинизма и патриотизма буржуазии всех стран.

Да здравствует пролетарский Интернационал, освобожденный от оппортунизма.

Автор манифеста В. И. Ленин. Собр. соч., том 18, стр. 66.

КАЗАРМА ВО ВРЕМЯ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ

«Сегодня империалистическая буржуазия милитаризует не только весь народ, но и молодежь. Завтра она приступит, пожалуй, к милитаризации женщин. Мы должны сказать по поводу этого: тем лучше! Чем скорее, тем ближе к вооруженному восстанию против капитализма».

В. Ленин — «Военная программа пролетарской революции» — т. XIX, стр. 327

Во пехотном я полку,
Росно снопик на току.
Коли немец не колотит,
Взводный шкуру мне молотит,
Подо мною ножки гнутся,
Все поджилочки трясутся...

Из солдатских частушек Федорченко — «Народ на войне»

МУШТРОВКА

Из романа «Солдат Зурен» Георга фон-дер-Вринг

Воинская колонна молча движется вперед. Винтовки перекинуты у кого через правое, у кого через левое плечо. Командует унтер-офицер 9-й роты. Это толстый дьявол с крючковатым носом и раздвоенными усами. Зовут его Цутшки. Завидовать 9-й роте, обладающей этим кладом, повидимому, нечего. Сейчас Цутшки в ярости потому, что наше пение, несмотря на все его угрозы, никак не налаживается. Рядом с ним шагает Классен. Ему безразлично, поем ли мы, или нет. Он сам, не переставая, напевает и насвистывает что-то о «прекрасных девушках». Не доходя до леса, недалеко от которого находится стрельбище, Цутшки, как полагается, командует: «Стройся повзводно!»

Мы немедленно выполняем команду, перестраиваемся, перекладываем винтовки на левое плечо и плотно прижимаем приклад. Шаг выравнивается. В рядах царит молчание.

Внезапно я слышу рядом с собой звук удара и вижу, как Ган падает лицом вперед в мерзлую колею. Винтовка его летит вперед, ударив по ногам идущих перед ним. Я сразу соображаю, в чем дело: Цутшки врезался в колонну и с силой ударил Гана в спину. За что? Должно быть сапожник чем-нибудь провинился.

Мы шагаем дальше. Немного погодя упавший догоняет нас и снова, спеша попасть в ногу, занимает свое место; слегка скосив глаза, я вижу, что из носа у него, пачкая белокурые усы, струится кровь. Я слышу, как он сопит и глотает попадающую в рот кровь. Мы заворачиваем к стрельбищу.

На стрельбище солдатам разрешается свободно передвигаться. Желательно добиться хороших результатов, поэтому никого не торопят. Так как очередь 10-й роты должна наступить не скоро, мы направляемся к вытопленной для нас сторожке. Имеющие деньги могут здесь получить глинтвейн.

Луртыбам приглашает своего земляка Гана выпить с ним стаканчик глинтвейна. Я присоединяюсь к ним. Мы садимся около окна, курим и пьем горячее вино. Большие

белые хлопья снега облепляют снаружи стекло. Круглая железная печурка в сторожке раскалена кругом до-красна.

Луртыбам и я ругательски ругаем эту сволочь — Цутшки. Мы вне себя от его неслыханной грубости и не стесняемся в выражениях. Меня все время так и тянет прикоснуться рукой к раскаленной печке.

— Но что тут поделаешь? — говорит, пожимая плечами, Луртыбам. — Ведь если ты подашь рапорт старшему, то все они на тебя же напустятся. Эти паршивцы, как клопы, которые затемняют небо.

Как это клопы «затемняют небо», я, по правде сказать, не совсем хорошо понял. Ган, который до сих пор сидел держа обеими руками свой горячий стакан и молчал, покачал головой и с печальной покорностью судьбе проговорил.

— Да не все ли равно? Пусть он делает что хочет. Я из-за этого не повешусь. Мы с ним еще когда-нибудь встретимся на позициях. Вот тогда я его прикончу. Я перережу ему жилы под коленками и раскрою голову пополам... Ах, да не все ли равно? Ведь это еще далеко не самое худшее...

Не обрался я беды,
Как попал я вот сюды.
Не пришелся я по нраву,
Никогда не буду правый.
Нету хуже взводного,
Для кого невгодного,
Все ругается да бьет,
Да со свету сживет.
По окопу немец шкварит,
По сусалам взводный жарит,
Не житье, а чисто ад,
Я домой удрать бы рад.
А домой не удерешь,
Дезертиром пропадешь.

Из солдатских частушек. С. Федорченко — «Народ на войне».

СЕРЖАНТ ГИММЕЛЬШТОС

Из романа: «На западном фронте без перемен» — Эрих-Мария Ремарк

Весь наш класс, разбитый на мелкие группы, был рассован по разным отделениям в перемежку с фрисландскими рыбаками, крестьянами, рабочими и ремесленниками, с которыми мы очень быстро подружились. Кропп, Мюллер, Кеммерих и я попали в девятое отделение, под команду унтер-офицера Гиммельштоса.

Гиммельштос славился, как самый ужасный живодер во всей казарме, и очень гордился этой славой. Этот маленький, невзрачный человечек, когда-то, двенадцать лет пробывший на действительной военной службе, с лисьим лицом и лихо закрученными усами, до войны был почтальоном. К Кроппу, Тиадену, Вестгузу и ко мне он особенно придирался, чувствуя, должно быть, в нас затаенный в глубине души протест.

Было такое утро, когда я под ряд четырнадцать раз стлал ему постель. Каждый раз он находил какой-нибудь недочет и сбрасывал все на пол. В течение 20 часов (с небольшими перерывами) я тер и чистил пару старых и совершенно заскорузлых солдатских сапог, пока они не стали мягкими как масло и не заблестели так, что даже Гиммельштос должен был признать себя удовлетворенным. По его приказу, я зубной щеткой доблеска начистил пол в дежурной комнате. Кропп и я получили приказание при помощи маленькой метелки и жестяной лопатки для мусора очистить двор казармы от снега, и мы так должно быть и замерзли бы на дворе, если бы случайно проходивший мимо лейтенант не отослал нас в казарму и не обругал на чем свет стоит Гиммельштоса. После этого случая Гиммельштос еще больше возненавидел нас. Я, в течение четырех недель под ряд, каждое воскресенье нес караул и столько же времени выполнял обязанности дневального. В полном снаряжении, с винтовкой в руках, я до тех пор проделывал на размокшем, свеже-вспаханном поле упражнения «встать, шагом марш!» и «ложись!», пока не пре-

вратился в огромный ком грязи и не свалился в полуобморочном состоянии. Четыре часа спустя я предъявил Гиммельштосу свое безукоризненно вычищенное обмундирование. Руки мои, правда, при этом оказались натертыми до крови. Вместе с Кроппом и Вестгузом я без перчаток при сильном морозе в течение четверти часа стоял «смирно», приложив обнаженные пальцы к металлической части ружья; при этом мы все время находились под особенно тщательным наблюдением Гиммельштоса, надеявшегося уловить хоть какое-нибудь движение, могущее послужить поводом для наказания. В два часа ночи в одной сорочке я восемь раз бегом спускался с верхнего этажа казармы во двор за то, что мои кальсоны на несколько сантиметров вылезали за край табуретки, на которой нам полагалось складывать свои вещи. Рядом со мной бежал по лестнице дежурный унтер-офицер Гиммельштос и усиленно наступал на пальцы моих голых ног. При штыковых упражнениях мне постоянно приходилось иметь своим партнером Гиммельштоса, при чем мне в руки давалась тяжелая железная палка, а ему — легкое деревянное ружье, и он с полным удобством мог избивать меня так, что мои руки и плечи оказывались покрытыми синяками. Однажды, правда, я при этом пришел в дикую ярость и, внезапно наскочив на него, нанес ему такой сильный удар в область желудка, что он повалился навзничь. Когда он сделал попытку пожаловаться, ротный командир высмеял его и посоветовал в другой раз быть внимательнее; он, повидимому, отлично знал, что собой представляет Гиммельштос, и был доволен, что ему хоть раз влетело. Я научился мастерски взбираться на шест, и в искусстве приседания и сгибания колен мне также трудно было найти равного... Мы дрожали, слыша его голос, но все же этой взбесившейся почтовой лошади так и не удалось унизить нас и целиком подчинить своей воле.

Когда мы с Кроппом однажды в воскресенье в лагерях проносили по двору подвешенные к шесту ведра с нечистотами, нам навстречу попался Гиммельштос, расфранченный и напомаженный, собиравшийся, повидимому,

со двора. Он остановился перед нами и спросил, как нам нравится эта работа. Внезапно споткнувшись, мы вылили ему на новые брюки и сапоги все содержимое ведер. Он пришел в дикую ярость, но очевидно чаша была переполнена.

— За это полагается крепость! — заорал он.

Кроппа вконец взорвало.

— До этого во всяком случае будет следствие, и тогда мы выложим все, — сказал он.

— Как смеете вы так разговаривать с унтер-офицером? — завопил Гиммельштос. — Вы с ума спятили, что ли? Ждите, пока вас спросят. Что вы собираетесь делать?

— Выложить всю правду о господине унтер-офицере, — сказал Кропп, вытянувшись и держа руки по швам.

Тут Гиммельштос в конце концов понял, что дальше натягивать струну не безопасно, и, не произнося ни слова, двинулся дальше. Раньше, чем исчезнуть на повороте, он успел еще пробормотать: «Ничего! Я вам еще за это отплачу...» Но в сущности с этой минуты уже наступил конец его власти. Он попробовал еще раз заставить нас на вспаханном поле проделать упражнения «ложись!» и «встать, шагом марш!» Мы исполняли его приказы (ведь приказ остается приказом и должен быть выполнен), но делали мы это так медленно, что Гиммельштос готов был притти в отчаяние. Спокойно опускались мы на колени, затем на локти и т. д. Он успевал уже в бешенстве выкрикнуть новое приказание раньше, чем мы доводили до конца выполнение первого. Он успевал охрипнуть раньше, чем мы успевали вспотеть.

Он оставил нас в покое. Правда, он продолжал называть нас стервецами, но даже в самой его брани скрывался некоторый оттенок уважения.

Были, конечно, и вполне приличные командиры из нижних чинов, которые вели себя более благоразумно. Приличных было даже больше. Но каждый из них стремился возможно дольше удержаться на безопасном месте здесь в тылу, а достичь этого можно было лишь при условии максимального подтягивания новобранцев.

Нас, благодаря этому, шлифовали всеми мыслимыми способами, и случалось, что мы рыдали от подавленной ярости и злобы. Некоторые из нас в этой обстановке заболевали; Волф даже умер от воспаления легких. Мы стали жестокими, мстительными, грубыми, и это было хорошо: этих свойств нам как раз и нехватало. Если б нас без этих недель подготовки отправили в окопы—большинство из нас, должно быть, сошло бы с ума. А так, мы все-же оказались подготовленными к тому, что нас ожидало.

Мы не сломились, мы только научились приспосабливаться. Наши двадцать лет, заставлявшие нас во многих случаях переживать все особенно остро, в данных условиях помогли нам. Но самым главным было то, что в нас создалось крепкое, основанное на практических соображениях сознание связанности друг с другом, сознание, которое позднее, на фронте, выросло и превратилось в лучшее, что дала война,— в чувство товарищества.

Тиаден особенно остро ненавидел Гиммельштоса. Во время его пребывания в запасном батальоне, Гиммельштос занимался своеобразным его воспитанием. Тиаден страдает ночным недержанием мочи. Ночью во сне с ним часто происходят недоразумения. Гиммельштос утверждал, что это просто лень, и изобрел средство для излечения. Он отыскал в соседнем бараке другого новобранца, некоего Киндерфатера, страдавшего такой же болезнью, и поместил его вместе с Тиаденом. В бараках койки были расположены в два яруса, одна над другой. Переплеты коек были проволочные, сквозные. Гиммельштос поместил обоих больных одного над другим. Положение нижнего, в таких условиях, оказывалось ужасным. Зато на следующий вечер он менял их местами, так что нижний попадал на верх и мог наслаждаться местью. Такова была воспитательная система Гиммельштоса.

Способ был подлый, хотя по идее своей, может быть, и правильный. К сожалению, он не принес пользы, потому что неправильна была предпосылка: причиной этих неприятных явлений у обоих была не лень, и это было ясно для каждого, кто приглядеался бы к серовато-бледно-

му цвету их кожи. Дело кончилось тем, что одному из двоих постоянно приходилось спать на полу, причем он, конечно, рисковал простудиться.

... Подошел Гайе и также уселся около нас. Он подмигивает мне и задумчиво потирает свои огромные лапы. Мы вместе с ним пережили самый лучший момент нашей жизни в казарме. Случилось это вечером, накануне нашей отправки на фронт. Мы были назначены в один из отправлявшихся на фронт полков, но предварительно должны были еще на предмет обмундирования вернуться в свой гарнизон, правда, не в свою часть, а в другую. Отправка наша была назначена на следующее утро. Вечером мы двинулись в путь, чтобы свести счеты с Гиммельштосом. Это было решено уже много недель назад.

Мы решили как следует избить его. Что могло нам грозить за это, если мы останемся не узнанными и если мы все равно отправляемся завтра на фронт?

Мы знали, в какой пивной он обыкновенно бывает по вечерам. Возвращаясь из пивной в казарму, он должен был проходить по неосвещенной, незастроенной улице. Там мы и решили подстеречь его, спрятавшись за кучей камней. Я взял с собой простыню. Мы трепетали от напряженного ожидания, опасаясь, что он вдруг окажется не один. Наконец, мы услышали его шаги. Мы знали их хорошо. Мы достаточно часто слышали их по утрам, когда открывалась дверь и раздавался его зычный рев «Встать!»

— Один? — шопотом спросил Кропп.

— Один.

Мы с Тиаденом тихонько обошли кучу камней.

Вот уже блеснула пряжка на его поясе. Гиммельштос, повидимому, был навеселе. Он что-то напевал. Ничего не подозревая, прошел он мимо нас.

Мы схватили простыню, одним прыжком догнали его, накинули ему простыню на голову, стянули ее и завязали у пояса так, что Гиммельштос оказался словно в мешке и не мог даже шевельнуть руками. Пение замерло.

В следующую минуту к нам подоспел Гайе Вестгуз. Расставив руки, он откинул нас в сторону, страстно желая оказаться первым. С неимоверным наслаждением стал он в позу, поднял руку, напоминавшую лопату для угля, и нанес по мешку такой удар, который способен был свалить с ног быка.

Гиммельштос перекувырнулся, откатился метров на пять и завопил. Но мы это предвидели и захватили на всякий случай подушку. Гайе присел, положил себе на колени подушку, сгреб Гиммельштоса за то место, где должна быть голова, и прижал ее к подушке. Голос его сразу же стал звучать значительно глуше.

Тиаден отстегнул Гиммельштосу подтяжки и стянул вниз брюки. При этом он придерживал плетку зубами. Затем он поднялся на ноги и началась порка.

Удивительная это была картина! Лежащий на земле Гиммельштос, склонившийся над ним и придерживающий его голову у себя на коленях Гайе, от наслаждения дьявольски оскаливший зубы, дергающиеся полосатые подштанники, рахитические ноги в сползающих штанах, выкидывающие при каждом ударе самые оригинальные движения, — и над всем этим, словно неутомимый дровосек, Тиаден. Нам, в конце концов, пришлось его оттащить, чтобы и на нашу долю что-нибудь осталось.

Наконец, Гайе поставил Гиммельштоса на ноги и устроил добавочное представление. Казалось, Гайе хочет достать звезды с неба, так размахнулся он правой рукой, чтобы закатить Гиммельштосу оплеуху покрепче. Гиммельштос упал. Затем, вскочив на ноги, с воем бросился бежать.

Мы также пустились наутек.

После того как будто лучше стало, добреть почал и больше-то не бил. Да толку с того мало, трех зубов нету, барабан в ухе пробился, не слышно, почитай, ничего. В голове зудит да болит круглые сутки...

Из подслушанных разговоров.
С. Федорченко «Народ на войне».

ПРИКАЗ ЛЕЙТЕНАНТА.

Из романа Джона Дос Пассос'а «Три солдата».

Фузелли сидел на своей койке. Он только что побрился. Было воскресное утро, и он надеялся получить отпуск на всю вторую половину дня. Он еще раз тщательно обтер лицо полотенцем и поднялся. На улице серебристым потоком лил дождь, и шум от ударявшихся о толевую крышу широких струй воды действовал почти оглушающе.

В противоположном конце вытянувшихся в ряд коек Фузелли заметил группу товарищей, которые, казалось, все с напряженным вниманием во что-то вглядывались. Он спустил рукава рубахи, взял в одну руку свою форменную куртку и направился вдоль ряда коек к собравшимся, чтобы узнать в чем дело. Сквозь шум ударяющегося о крышу дождя он услышал чей-то слабый голос:

— Я не могу, сержант, — с трудом произнося слова, говорил кто-то. — Я болен и не могу встать!

— Этот парень рехнулся, — произнес один из товарищей, стоявший рядом с Фузелли.

— Встать сию минуту! — заорал сержант. Это был высокий черноволосый человек, похожий на дровосека. Он наклонился над койкой. На койке лежал Стактон. Лицо его было бледно, как мел. Зубы его стучали, а глаза от страха, должно быть, вылезали из орбит.

— Немедленно встань с койки, говорю тебе! — продолжал орать сержант.

Юноша молчал. Его бледные щеки подергивались.

— Да что же, чорт побери, с ним приключилось?

— Почему вы просто не скинете его на пол, сержант?

— Немедленно встань! — снова заорал сержант, не обращая внимания на окружающих.

Собравшиеся разошлись по своим местам. Только Фузелли, словно загипнотизированный, продолжал наблюдать за происходившим.

— Ладно! В таком случае я позову лейтенанта. За такие штуки предают военному суду! Мортон и Морисон! Подойдите сюда! Вы отвечаете мне за него!..

Юноша лежал, не шевелясь, прикрытый одеялом. Он закрыл глаза. По движению одеяла, поднимавшегося и опускавшегося вместе с его грудью, можно было судить о том, как он тяжело дышит.

— Стоктон, глупая ты свинья, почему ты не встаешь? — спросил Фузелли. — Ведь не можешь же ты взбунтоваться против всей армии?

Мальчик не ответил.

Фузелли отошел прочь. «Он спятил», проворчал он себе под нос.

Пыхтя, вошел толстый краснолицый лейтенант. За его спиной виднелась высокая фигура сержанта. Лейтенант остановился, стряхивая воду с фуражки. Дождь все еще с оглушающим шумом обрушивался на крышу барака.

— Смирно! Послушайте, вы, человек! Вы больны? Тогда немедленно заявите об этом! — произнес лейтенант подчеркнуто любезным тоном. Юноша глядел на него мутным взглядом и молчал.

— Вам следовало бы встать и подтянуться, раз с вами говорит офицер!

— Я не могу встать, — прозвучал слабый голос. Красное лицо офицера побледнело.

— Сержант! Что с этим человеком? — крикнул он в бешенстве.

— Я ничего не могу с ним поделать, господин лейтенант, я думаю, что он сошел с ума.

— Глупости! Просто-напросто отказ от исполнения воинских обязанностей... Вы арестованы! — закричал лейтенант, оборачиваясь к койке.

Ответа не было. Дождь с силой ударял по крыше.

— Отправьте его на гауптвахту! Примените силу, если это окажется необходимым! — резко проговорил лейтенант, направляясь к дверям.

— И затем, сержант, немедленно приготовьте нужные документы для полевого суда! — Дверь с треском захлопнулась за ним.

— Ну-с, а теперь поставьте-ка его на ноги! — сказал сержант, обращаясь к часовым. Фузелли поспешил отойти подальше.

— Некоторые люди похожи на бешеных собак, — сказал он одному из солдат, стоявших в конце барака. Он выглянул в окно и не мог оторвать глаз от блестящих снопов брызгов, без передышки падавших с неба.

— Выкиньте его из кровати! — орал сержант.

Юноша лежал с закрытыми глазами. Лицо его белое, как мел, было полуприкрыто одеялом. Он совсем затих.

— Ну, так как же? Намерен ты отправиться на гауптвахту, или тебя придется тащить туда волоком? — завопил сержант.

Часовые довольно осторожно взяли юношу за плечи и приподняли его так, что тело его приняло подобие сидячего положения.

— Так! Теперь скиньте его с койки!

Слабая, колеблющаяся фигура в рубахе цвета хаки и беловатых штанах на мгновение была приподнята и поставлена на ноги стоявшими по бокам солдатами, но тут же свалилась на пол, словно куча упавших листьев.

— Он потерял сознание!...

— Чорт подери!... Морисон, сбегай в лазарет и приведи оттуда кого-нибудь!

— Это не обморок... паренек-то ведь помер, — проговорил второй солдат. Сержант помог уложить тело обратно на койку.

— Чорт бы побрал эту глупую историю! — проворчал он.

Глаза покойника приоткрылись. Часовые накинули ему на голову одеяло.

И жаловаться не насмелишься. Ко мне один, невзлюбил, пристал. За малый за пустяк, что хочеть, в невочередь, под винтовку. Да и бивывал, как поблизу подвернешься. Все я, бывало, сторонкою ширяюсь. До того довел, всех боюсь словно пес шелудивый. Как начальство, так и сдается—пнет! Жил, голова меж плеч, чтоб помельче, словно.

Из подслушанных разговоров. Федорченко— «Народ на войне».

ДУЭЛЬ ПОД ДРЕЗДЕНОМ

Рассказ Эриха Кестнера

28 октября 1927 года в роще под Дрезденом, недалеко от Уллендорфской мельницы и широкого пересекающего лес шоссе, должна была состояться дуэль на пистолетах. Участниками дуэли являлись—Киннэ, ассессор при окружном суде, сорокалетний, длинный, как жердь, человек, и молодой химик, по фамилии Графф. Противники приехали в сопровождении своих друзей и одного из ассистентов городской больницы, с которым Графф был знаком.

Не доезжая рощи, в том месте, где проселочная дорога пересекается шоссейной, стояли в ожидании три наемных автомобиля. Шоферы от скуки играли в скат. Им было дано распоряжение отвечать уклончиво на всякие расспросы прохожих,—но за все время их ожидания не прошел мимо никто, кто мог бы задавать вопросы. Шоферы привезли с собой несколько бутылок пива. Зяблики садились на крыши автомобилей, улетали и снова возвращались. Небо светлело и стало, наконец, светло-голубым и прозрачным, словно стекло.

И вот, из рощи вышло четверо из приехавших сюда господ. Они несли на руках труп химика Граффа. Позади них шел врач. Шествие заключал ассесор Киннэ. Он нес ящик с пистолетами и курил сигару.

Шоферы бросились к своим машинам. Через несколько минут автомобили уже мчались по направлению к городу.

Дуэль не состоялась. Графф упал и скончался от разрыва сердца в тот момент, когда кто-то из секундантов отмеривал расстояние между противниками. Когда врач, осмотрев упавшего, громко объявил, что он умер, Киннэ потер руки, словно умываясь, и выразился примерно так, что Графф де тем или иным путем, но получил то, чего сам хотел.

Графф принадлежал к тем молчаливым жертвам войны, которые при подсчетах обычно забывают учесть.

То что, он умер через десять лет после войны,—отнюдь не может послужить возражением. Он был призван в тот период, когда старые фронтовики, которых уже по четвертому разу отправляли на передовые позиции, нередко держали между собой пари о том, вернутся ли они назад через две недели, или уже через неделю. Они в пути, обычно в Брюсселе, теряли сопровождавшего их старшего — какого-нибудь беспомощного, молодого офицера из запаса, продавали походное обмундирование, посещали известные всей армии притоны и женщин и, наконец, равнодушно пожимая плечами, снова являлись в свой родной город, в запасной батальон, не возражая против двухнедельного неизбежного ареста.

И вот тогда высшее военное командование решило прибегнуть к детскому крестовому походу и призвало на военную службу Граффа и его сверстников. Длинными колоннами, размеренным маршем потянулись они к пустым казармам. Кое-где в колонны были вкраплены и небольшие оркестры музыки. Матери могли из окон любоваться на этот парад приготовляемых к бойне.

В тот же день, после обеда, на головы мальчиков нахлобучили пропотевшие шлемы, напялили на их плечи болтающееся, словно на вешалке, форменное платье и снаряжение, и на следующее утро началось военное обучение.

Их обучали отдаванию чести, умению стоять смирно, парадному маршу, сгибанию колен и другим вещам, столь необходимым для того, чтобы умирать.

Графф попал в артиллерию. В одну с ним часть попало такое количество учащихся различных школ и конторских учеников, что пришлось сформировать целую особую команду вольноопределяющихся.

Отбор низшего командного состава для обучения этой выделенной роты был произведен лично старшим лейтенантом Киннэ. Выбор производился весьма тщательно. Ни один сержант не казался ему в достаточной степени грубым. Казалось лейтенант испытывал какую-то особую ненависть ко всем этим полудетским лицам и хотел сы-

грать для них роль фабриканта ангелов. Его нафабренные и взбитые вверх (по образу и подобию императора Вильгельма) усы сладострастно вздрагивали, когда он проходил вдоль выстроенных перед ним рядов. А когда унтер-офицеры употребляли недостаточно грубые, по его мнению, ругательства, он задавал тон в этом направлении, проявляя в этой области чрезвычайно обширные познания.

После того как лейтенант откомандировал на фронт одного ефрейтора, позволившего себе выразить неодобрение системе военного обучения, практиковавшейся в роте вольноопределяющихся, остальные ефрейторы и унтер-офицеры окончательно распоясались. Они терзали вверенных им мальчишек, словно дьяволы, и старались превзойти друг друга в изобретении самых неслыханных подлостей и наказаний. Нередко случалось, что тот или иной из юношей во время упражнений или при перетаскивании снарядов падал без чувств. После каждой противохолерной или противотифозной прививки Киннэ заставлял вольноопределяющихся проделать по двести пятьдесят приседаний и самолично следил за тем, чтобы они были произведены достаточно низко и по всем правилам искусства. Одному из молодых солдат, позволившему себе подать рапорт полковнику, пришлось за это, под каким-то предлогом, три часа под ряд бегать и ползать по учебному плацу. Он получил солнечный удар и был отправлен в лазарет.

Тот, кто не решался или не умел произвести в тяжелых сапогах прыжок с высокой перекладины (этот очень опасный прыжок с подтянутыми вверх коленями), официально обзывался самыми унизительными и бранными словами. Во время дежурств по конюшне было строго запрещено убирать навоз иначе, как голыми руками. Граффу при уроках верховой езды неизменно давалась необычайно злая лошадь, бешено кусавшаяся и лягавшаяся. Ежедневно повторялось одно и то же: лошадь в клочья разрывала на нем рубаху, прихватывая зубами и кожу, и отшвыривала его в узкий проход между стойлами. Однажды ло-

шадь лягнула его так сильно, что он в течение часа пролежал почти без сознания. Унтер-офицеры, собравшись вокруг лежавшего, изощрялись в остротах на его счет. Графф неоднократно тщетно просил дать ему другую лошадь.

Правой рукой лейтенанта Киннэ был Аурих. Этот человек, благодаря проявленной им на фронте действительно изумительной храбрости, был произведен в младший офицерский чин, но затем в наказание за дикое злоупотребление данной ему властью был снова разжалован и в настоящее время состоял в чине сержанта. Он заставлял более состоятельных парней подносить ему по вечерам угощение, принимал от них денежные подарки, но отплачивал за подношения двойными мучительствами.

У Граффа начались проявления болезни сердца. Однажды во время маршировки Графф от слабости свалился с ног. Аурих приказал дежурному ефрейтору отвести Граффа на гауптвахту «за неисполнение приказания». И тогда лежавший на земле Графф напряг все силы, приподнялся на колени, а затем, держась за винтовку, с трудом встал на ноги и потащился вслед за колонной.

На обратном пути было приказано затянуть песню. Заметив, что шатавшийся от слабости Графф не поет, Аурих подошел к нему и, настороженно улыбаясь, спросил: — Эй, Графф! Скажи-ка! Если б раньше, вот когда ты свалился, у тебя в руках был револьвер, пристрелил бы ты меня или нет? — Так точно! Пристрелил бы! — заорал во весь голос Графф, откинув назад голову.

Вечером, попав на час домой, Графф внезапно разразился истерическими рыданиями. Он катался по кровати и, размахивая руками, беспрерывно повторял: «Застрелю, застрелю эту собаку! Застрелю! Застрелю!...»

Мать в отчаянии и ужасе стояла около него.

На следующий день она тайком отнесла сержанту ящичек сигар и попросила его поберечь ее мальчика. Аурих посмеиваясь принял сигары.

Графф не мог уже без тяжкой одышки и сердцебиения подниматься по лестнице. Он подал рапорт о болезни, но

напрасно. Штабной врач не нашел у него никаких болезненных симптомов. Тогда Графф подал заявление с просьбой отправить его на освидетельствование во врачебную комиссию. Комиссия отправила его на четыре недели в лазарет, находившийся в горах. Когда он вернулся в свою часть, оказалось, что Аурих только что откомандировался на фронт. Лейтенант Киннэ взял его функции на себя и добился того, что состояние здоровья Граффа через несколько дней оказалось хуже, чем было до отправки в лазарет. Но теперь Граффу все было безразлично. Он не испытывал уже страха перед взысканиями, был упрям, открыто проявлял свою ненависть. Киннэ, между тем, стремился довести свое разрушительное дело до конца.

Графф снова потребовал направления в комиссию. После осмотра он был откомандирован в особый запасной батальон, в котором находили себе приют полуторы саксонской армии.

Перед откомандированием из роты вольноопределяющихся Графф имел продолжительный разговор со старшим лейтенантом. Графф преподнес ему несколько горьких истин и на прощанье добавил: «Вы вполне сознательно и с каким-то сладострастием превратили меня в развалину. Вы обращались с нами словно со скотиной. Я надеюсь, что мы с вами встретимся как-нибудь после войны.....»

Война, наконец, кончилась. Тяжело больной, Графф вернулся в гимназию, сдал ряд всяких экзаменов, учился еще в различных специальных школах, снова сдавал какие-то экзамены и, наконец, получил скромно оплачиваемую службу в качестве химика на фабрике пищевых продуктов. Здоровье его не давало ему возможности выполнять свою работу так, как он этого бы желал, а материальная необеспеченность не позволяла взять необходимый ему для восстановления своих сил длительный отпуск. В двадцать пять лет он был кандидатом на тот свет и отдавал себе в этом ясный отчет. Живя вместе с матерью, он старался скрывать от нее все учащающиеся

сердечные припадки и приступы мрачной безнадежности. Он не курил и не употреблял алкоголя. Он избегал женщин и старался убедить себя и других, что его вовсе и не тянет к ним. Только оставаясь один, он предавался отчаянию, и ему казалось, что подавленные желания готовы задушить его. В такие минуты он усаживался у окна, глядел на улицу и заглядывал в чужие окна с таким чувством, словно он находился по ту сторону жизни.

Для одной только страсти сохранилось у него достаточно энергии: для ненависти. Годами упражнялся он в стрельбе из пистолета. Упражнения эти происходили в саду у одного приятеля. В конце концов он достиг в этой области исключительного совершенства. Он сам нарисовал себе цель—фигуру офицера в зеленом мундире и с нафабренными усами—и с любого расстояния попадал в точку, означавшую сердце.

Его приятель, кандидат на судебные должности, регулярно сообщал ему все сведения о жизни и месте пребывания асессора Киннэ, служившего в одном с ним судебном учреждении. Графф терпеливо ждал случая.

Наконец, он дождался. Возвращаясь с матерью однажды с прогулки по городскому парку (был уже конец сентября), Графф вошел в трамвай. Вагон был полон, и они принуждены были остаться на задней площадке. Неожиданно кто-то, стоявший позади него, проговорил:

— Ведь мы, если не ошибаюсь, знакомы?

Графф вздрогнул и взглянул на говорившего, который, без видимой причины, внезапно побледнел. Мать Граффа схватила сына за локоть. Он вырвался и проговорил с дрожью в голосе:

— Мама! Это он!

И раньше, чем окружающие успели помешать ему, он нанес своему врагу несколько ударов по лицу. Асессор Киннэ замер в неподвижности, словно судьба скомандовала ему «смирно», и не сопротивляясь терпел наносимые удары. А Графф бил его кулаками молча и сосредоточенно, как будто выполнял очень важную, заказанную ему работу. Напрасно мать пыталась оттащить его.

Вмешалась, наконец, и посторонняя публика. Кондуктор что-то крикнул, остановил вагон и вытолкал Граффа на мостовую. Мать последовала за ним.

Кое-кто из пассажиров поспешил потребовать удостоверения личности участников столкновения. Но Киннэ, обтирая лившую изо рта кровь, досадливо отмахнулся:

— Прошу вас не вмешиваться не в свое дело....

Дуэль состоялась через четыре недели. Промедление произошло по желанию Граффа, стремившегося отвлечь подозрения матери.

Исход—читателю известен. Жизненных сил молодого химика не хватило на доведение мести до конца... А может быть судьба уберегла его от последнего издевательства — смерти от руки своего мучителя.

НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИИ

«Война не случайность, не «грех», как думают христианские попы (проповедывающие патриотизм, гуманность и мир не хуже оппортунистов), а неизбежная ступень капитализма, столь же законная форма капиталистической жизни, как и мир».

В. И. Ленин «*Положение и задачи социалистического интернационала*», *Собр. соч., т. 18, стр. 70.*

«Тот, кто старается не делать выводов, будет уничтожен войной, даже если спасется от ее гранат».

Иоганнес Бехер.

«. . . Но лишь тогда, когда вы будете готовы часть тех неисчислимых жертв, которые вы приносите на поле брани ради интересов капитала принести ради собственного освобождения, борясь с капиталом, только тогда будете вы в состоянии положить конец войне, заложить настоящую основу для прочного мира, который из рабов капитала превратит вас в свободных людей».

Из проекта манифеста Циммервальдской левой от 5 — 8 сентября 1915 г. Собрание сочин. Ленина — т. 18 стр. 419.

ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ ТРУПОВ

Из рассказа «Человек добр» — Леонарда Франка

«Десять миллионов трупов. Убито десять миллионов людей. Поток крови этих десяти миллионов убитых (сорок миллионов литров дымящейся человеческой крови) мог бы в течение целых суток заменить гигантский поток воды Ниагарского водопада, и сила его падения послужить источником электрической энергии, достаточной для целого большого города... Всех транспортных средств Пруссии не хватило бы для одновременной перевозки одних только отделенных от туловищ голов этих десяти миллионов убитых. Цивилизация!...

Представьте себе поезд фантастической длины: первый вагон находится уже в Мюнхене, а последний едва поровнялся с Берлином, и все вагоны нагружены окровавленными человеческими головами... Цивилизация!...

Пусть уложат рядышком, вплотную, голова к голове и нога к ноге, эти десять миллионов изувеченных тел. Получится могила длиною в шестнадцать тысяч километров. Да, да, километров, не метров... Могила такой длины, что она может опоясать всю Германию. Шестнадцать тысяч километров мертвецов. Цивилизация!

. . . . . Шовинизм — безумие и преступление. Шовинисты глупы и подлы, когда они говорят, что война — лучшая школа всех добродетелей, что она закаляет и молодит людей, что провидение дарит победу достойнейшим и величие народа измеряется числом его побед, т. е. количеством совершенных убийств, при которых вместе с неприятелем погибают и дети собственного народа.

Анатоль Франс.

ПОДВИГ

Из романа Мих. Шолохова «Тихий Дон».

. . . . . Только что добрались до стодола и запыхавшись вскочили на коней,—увидели роту русских солдат, втекавшую со стороны Пеликалие в местечко. Казаки поскакали навстречу. Астахов доложил командиру роты, что по бугру, огиная местечко, идет немецкий разъезд. Капитан, строго оглядев носки своих сапог, присыпанные пыльным инеем, спросил.

— Сколько их?

— Больше двадцати человек.

— Езжайте им наперерез, а мы отсюда их обстреляем.

Он повернулся к роте, скомандовал построение и быстрым маршем повел солдат.

Когда казаки выскочили на бугор, немцы, уже опередив их, шли рысью, пересекая дорогу на Пеликалие. Впереди выделялся офицер на светлорыжем куцехвостом коне.

— Вдогон. Мы их нагоним на второй пост! — скомандовал Астахов.

Приставший к ним в местечке пограничник отстал.

— Ты чево же? Отломил, брат?—оборачиваясь крикнул Астахов.

Пограничник махнул рукой, шагом стал съезжать в местечко. Казаки шли шибко рысью. Даже невооруженным глазом ясно стало видно синюю форму немецких драгун.

Они ехали куцой рысью по направлению на второй пост, стоявший в фольварке верстах в трех от местечка, и оглядывались на казаков. Расстояние, разделявшее их, заметно сокращалось.

— Обстреляем! — храпнул Астахов, прыгая с седла.

Стоя, намотав на руки поводья, дали залп. Лошадь Иванкова стала вдыбки, повалила хозяина. Падая, он видел, как один из немцев валился с лошади: вначале лениво клонился на бок и вдруг, кинув руками, упал. Немцы, не останавливаясь, не вынимая из чехлов карабинов, поскакали переходя в намет. Рассыпались реже. Ветер крутил матерчатые флюгерки на пиках. Астахов первый вскочил на коня. Налегли на плети. Немецкий разъезд под острым углом повернул влево, и казаки, преследуя их, проскакали в сорока саженях от упавшего немца. Дальше шла холмистая местность, изрезанная неглубокими ложбинами, изморщиненная зубчатыми ярками. Как только немцы поднимались из ложбины по ту сторону, — казаки спешивались и выпускали им вслед по обойме. Против второго поста свалили еще одного.

— Упал! — крикнул Крючков, занося ногу в стремя.

— Из фольварка зараз наши... тут второй пост... бормотнул Астахов, загоняя обкуренным желтым пальцем в магазинную коробку новую обойму. Немцы перешли на ровную рысь. Проезжая поглядывали на фольварк. Но двор был пустынен, черепичные крыши построек ненасытно лизало солнце. Астахов выстрелил с коня. Чуть приотставший задний немец мотнул головой и дал лошади шпоры.

Уже после выяснилось, что казаки ушли со второго поста этой ночью, узнав, что телеграфные провода в полуверсте от фольварка перерезаны.

— На первый пост погоним! — крикнул, поворачиваясь к остальным, Астахов.

И тут только Иванков заметил, что у Астахова шелушится нос, тонкая шкурка висит на ноздрине.

— Чево они не обороняются? — тоскливо спросил он, поправляя за спиной винтовку.

— Погоди ишо... — кинул Щегольков, дыша, как сапная лошадь.

Немцы спустились в первую ложбину, не оглядываясь. По ту сторону чернела пахота, с этой стороны кустился бурьян и редкий кустарник. Астахов остановил коня, сдвинул фуражку, вытер пыльной стороной ладони зернистый пот. Он огледел остальных, сплюнув сухой комок слюны, сказал:

— Иванков, езжай к котловине, глянь, где они.

Иванков, кирпично-красный, с мокрой от пота спиной, жадно облизал зачерствелые губы, поехал.

— Курнуть ба,— шопотом сказал Крючков, отгоняя плетью овода.

Иванков ехал шагом, приподнимаясь на стременах, заглядывая вниз котловины. Сначала он увидел колышущиеся кончики пик, потом внезапно показались немцы, повернувшие лошадей, шедшие из-под склона котловины в атаку. Впереди, картинно подняв палаш, скакал офицер. За момент, когда поворачивал коня, Иванков запечатлел в памяти безусое нахмуренное лицо офицера, статную его посадку. Градом по сердцу топот немецких коней. Спиной до боли ощутил Иванков шиплющий холодок смерти. Он крутнул коня и молча поскакал назад.

Астахов не успел сложить кисет, сунул его мимо кармана.

Крючков, увидев за спиной Иванкова немцев, поскакал первый. Правофланговые немцы шли Иванкову наперерез. Настигали его с диковинной быстротой. Он хлестал коня плетью, оглядывался. Кривые судороги сводили ему посеревшее лицо, выдавливали из орбит глаза. Впереди, припав к луке, скакал Астахов. За Крючковым и Щегольковым вихрилась бурая пыль.

«Вот! Вот! Догонит»—стыла мысль, и Иванков не думал об обороне; сжимал в комок свое большое полное тело, головой касался холки коня.

Его догнал рослый рыжеватый немец. Он пикой пырнул его в спину. Острие, пронизав ременный пояс, наискось на полвершка вошло в тело.

— Братцы, вертайтесь!..— обезумев крикнул Иванков и выдернул из ножен шашку. Он отвел второй удар, направленный ему в бок, и, привстав, рубнул по спине скакавшего с левой стороны немца. Его окружили. Рослый немецкий конь грудью ударился в бок его коня, чуть не сшиб с ног, и близко в упор увидел Иванков страшную муть чужого лица.

Первый подскакал Астахов. Его оттерли в сторону. Он отмахивался шашкой, вьюном вертелся в седле, оскаленный, изменившийся в лице, как мертвец. Иванкова концом палаша плеснули по шее. С левой стороны над ним вырос драгун и блекло в глазах метнулся разящий на взлете палаш. Он подставил шашку: сталь о сталь брызнула визгом. Сзади пикой подовздели ему погонный ремень, настойчиво перли, срывали его с плеча. За задратой головой коня маячило потное, разгоряченное лицо веснущатого немолодого немца. Дрожа отвисшей челюстью, немец бестолково ширял палашом, норовя попасть Иванкову в грудь. Палаш не доставал, и немец, кинув его, рвал из пристроченного к седлу желтого чехла карабин, не спуская с Иванкова часто мигающих, напуганных коричневых глаз. Он не успел достать карабин, через лошадь его достал пикой Крючков, и немец, разрывая на груди темносиний мундир, запрокидываясь назад, испуганно удивленно ахнул:

— Мейне муттер.

В стороне человек восемь драгун огарновали Крючкова. Его хотели взять живьем, но он, подняв на дыбы коня, вихляясь всем телом, отбивался шашкой до тех пор, пока ее не выбили. Выхватив у ближнего немца пику, он развернул ее, как на ученьи.

Отхлынувшие немцы щепили ее палашами. Возле небольшого клина суглинистой невеселой пахоты грудились, перекипали, колыхаясь в схватке, как под ветром. Озверев от страха, казаки и немцы кололи и рубили по чем попало: по спинам, по рукам, по лошадям и оружию... Обеспамятевшие от смертного ужаса лошади налетали и бестолково сшибались. Овладев собою, Иванков несколько

раз пытался поразить наседавшего на него длиннолицего белесого драгуна по голове, но шашка падала на стальные боковые пластинки каски, соскальзывала.

Астахов прорвал кольцо и выскочил, истекая кровью. За ним погнался немецкий офицер. Почти в упор убил его Астахов выстрелом, сорвав с плеча винтовку. Это и послужило переломным моментом в схватке. Немцы, все израненные нелепыми ударами, потеряв офицера, рассыпались, отошли. Их не преследовали. По ним не стреляли вслед. Казаки поскакали напрямки к местечку Пеликалие, к сотне; немцы, подняв упавшего с седла раненого товарища, уходили к границе.

Отскакав с полверсты, Иванков зашатался.

— Я все... Я падаю!..— он остановил коня, но Астахов дернул поводья.

— Ходу!

Крючков размазывал по лицу кровь, щупал грудь. На гимнастерке рдяно мокрели пятна. От фольварка, где находился второй пост, они разбились на двое.

— Направо ехать,— сказал Астахов, указывая на сказочно зеленевшее за двором болото в ольшаннике.

— Нет, налево! — упрямился Крючков.

Разъехались. Астахов с Иванковым приехали в местечко после. У околицы их ждали казаки своей сотни.

Иванков кинул поводья, прыгнул с седла и закачавшись упал. Из закаменевшей руки его с трудом вынули шашку.

Спустя час, почти вся сотня выехала на место, где был убит германский офицер. Казаки сняли с него обувь, одежду и оружие, толпились рассматривая молодое нахмуренное, уже пожелтевшее лицо убитого. Усть-хоперец Тарасов успел снять с убитого часы с серебряной решеткой и тут же продал их взводному урядннку. В бумажнике нашли немного денег, письмо, локон белокурых волос в конверте и фотографию девушки с надменным, улыбающимся ртом.

Из этого после сделали подвиг. Крючков, любимец, командира сотни, по его реляции получил Георгия. Товарищи его остались в тени. Героя отослали в штаб дивн-

зии, где он слонялся до конца войны, получив остальные три креста за то, что из Петербурга и Москвы на него приезжали смотреть влиятельные дамы и господа офицеры. Дамы ахали, дамы угощали донского казака дорогими папиросами и сладостями, а он вначале порол их тысячным матом, а после, под благотворным влиянием штабных подхалимов в офицерских погонах, сделал из этого доходную профессию: рассказывал о «подвиге», сгущая краски до черноты, врал без зазрения совести, и дамы восторгались, с восхищением смотрели на рябоватое разбойницкое лицо казака-героя. Всем было хорошо и приятно.

Приезжал в ставку царь, и Крючкова возили ему на-показ. Рыжеватый сонный император осмотрел Крючкова, как лошадь, поморгал кислыми сумчатыми веками, потрепал его по плечу.

— Молодец казак!— и, повернувшись к свите:— Дайте мне сельтерской воды.

Чубатая голова Крючкова не сходила со страниц газет и журналов. Были папиросы с Крючковым. Нижегородское купечество поднесло ему золотое оружие.

Мундир, снятый с германского офицера, убитого Астаховым, прикрепили к фанерной широкой доске, и генерал фон-Ренненкампф, посадив в автомобиль Иванкова и адъютанта, с этой доской ездил перед строем уходивших на передовые позиции войск, произносил зажигательно-казенные речи.

А было так: столкнулись на поле смерти люди, еще не успевшие наломать рук на уничтожении себе подобных, в объявшем их животном ужасе натыкались, сшибались, наносили слепые удары, уродовали себя и лошадей и разбежались, вспугнутые выстрелом, убившим человека, разъехались нравственно искалеченные.

Это назвали подвигом!

ГЕРМАНИЯ, ГЕРМАНИЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО... [1]

Из романа Людвига Ренна «Война»

В 1916 году в сводке штаба верховного командования было напечатано: «Добровольческие полки вели наступление с огромным героическим подъемом под звуки национального гимна: «Германия, Германия превыше всего!..» Можно не сомневаться, что националисты до сих пор продолжают быть уверенными в том, что так именно оно и было. Но у меня и тогда это известие вызвало некоторые сомнения. Пережив хоть раз атаку, довольно трудно поверить, что могла быть речь о пении. Как это п е л и? Пели и бежали вперед по направлению к пулеметам, осыпавшим их дождем пуль? Пели, задыхаясь от бега или лежа на животе и стреляя, когда их мозг наполняла одна мысль: «если я не пристрелю тебя, то ты пристрелишь меня!» Правда, однажды я сам видел, как во время наступления человек собирал фиалки. Произошло это так, что передовая линия французов была прорвана и впереди не оказалось больше ни единого противника. Но чтоб человек испытывал патриотические чувства во время атаки, когда у него перед глазами столько гораздо более реальных вещей... Петь, да еще при неудавшейся атаке... Нет, это ложь, это пустая фраза. Проклятая, кровавая бессмыслица.

Случайно мне впоследствии пришлось узнать, как обстояло дело с этим пением. Нас в качестве резерва вызвали на передовые позиции. Сперва раздавался треск. Неприятель палил по одному из окопов. Гранаты взрывали комья грязи. Рядом со мною кто-то пробормотал:

— Собаки!..

— Что ты хочешь сказать?

— Мы жалкие псы, если соглашаемся все сызнова и сызнова подвергаться этому. Почему мы не убегам, когда находимся позади, в тылу? Пусть-ка офицеры попробуют одни удержать за собою позиции.

---

[1] Слова германского гимна.

— Не так громко!— сказал я.

Он посмотрел на меня с презрением.

— Да, таковы вы все. Я один тоже, конечно, ничего не могу поделать. А вот война все продолжается! Вы все сыты по горло и хотели бы вернуться домой, но вы ничего для этого не делаете.

Мы снова принялись молча наблюдать за взрывами.

— Ты должен понять меня,— заговорил он снова, после нескольких минут раздумья.— Я служил в 1914 году в одном из добровольческих полков, которые якобы с песнями шли в атаку. Распространять подобные слухи можно с полной безопасностью—в живых осталось ведь немного таких, которые могли бы рассказать о том, как было на самом деле... Я сам не был добровольцем. Я был старше и понимал больше этих незнающих жизни юнцов. Ведь большинство из них были взятые в армию прямо со школьной скамьи. Там им искусно сумели внушить ура - патриотические чувства и настроения. Ненадолго хватало этих настроений у громадного большинства... Мы направлялись во Фландрию. Везли нас в товарном поезде. Во время последней остановки до нас стало доноситься какое-то гудение. На платформе валялись солдаты в таких позах, словно у них что-то воткнуто в зад. Мне эта история переставала нравиться... Мы поехали дальше. Прошел час, другой. Внезапно где-то совсем близко раздался оглушительный треск. Мы к окнам. Около поезда в поле виднеется черное облако. Круглое и довольно высокое... Р-рамс!.. Снова такое же облако. Машинист тормозит. Колеса скрипят.

— Всем выйти! Рассыпься!—не своим голосом кричит офицер. Мы хватаем ремни, скрепляющие наши вещи. У одного из товарищей из ранца вываливается сапожная щетка — он впопыхах забыл застегнуть ранец. В то время, как он наклоняется, чтобы поднять щетку, его ранит осколком. Куда именно он был ранен, — я так и не узнал. Санитар Леман потом рассказывал мне, что он в течение нескольких дней бредил и все пытался засунуть в карман щетку.

В тот же день, после полудня, мы получили приказание наступать. Такое, знаешь, приказание, какие всегда даются в подобных случаях. «Вперед! В атаку! В таком-то направлении!» Мы не знали, кто стоит напротив нас и где мы находимся. Перед собой мы видели одни только пустые поля. По этим полям мы и неслись вперед. Вокруг нас свистели пули. Затем мы бросились наземь и принялись стрелять так, как нас этому учили: прямо вперед. Авось в кого-нибудь попадем... До этой минуты наша артиллерия не выпустила ни одного снаряда. Но внезапно позади нас послышалось все приближающееся шипение, и два снаряда, ударившись, разорвались вплотную впереди нас... «Ну, — думаю я, — теперь они перенесут огонь дальше вперед».— Но вот раздаются следующие выстрелы — снаряды ложатся вплотную позади нас. Здорово они стреляли!

— Эй вы!— слышу я за собой чей-то отчаянный крик,— Сбегайте назад к артиллерии! Она палит по нас!

Кто-то в смертельном страхе, спотыкаясь, бежит по мягкому, изрытому снарядами полю по направлению к тыловой линии. Снаряды нашей артиллерии один за другим ложатся среди наших стрелковых линий.

— Горниста!— снова раздается все тот же голос.—Разве здесь нет ни одного горниста? Труби!

Несколько жалких дрожащих звуков вырывается из трубы.

Со стороны неприятеля с новой силой зацокотали пули. Сзади гремела наша артиллерия.

— Пойте!— ревел голос.— Пойте: «Германия, Германия превыше всего!»

Два, три голоса недружно затянули гимн. Затем присоединились еще голоса. Ведь пели мы ради спасения собственной жизни! Лежали мы при этом на брюхе, и «патш!» «бум!» — среди нас то и дело рвались снаряды, и при каждом разрыве мы на мгновение переставали дышать. Я орал песню изо всех сил. Но наша артиллерия так и не услышала этого пения. Она все продолжала палить и палить. Раненые жалобно стонали и кричали. То там, то здесь снова подхватывали песню. Все безнадежнее

звучали голоса: «Германия, Германия превыше всего!..» С тех пор я никогда не принимал участия в пении этого гимна. Несколько дней спустя (нас оставалось уж так мало, что вся наша рота свободно помещалась в небольшой комнате, в крестьянском домике) один из товарищей принес оттиск последней сводки штаба верховного командования и громко прочел: «Германские добровольческие полки вели наступление с огромным героическим подъемом под звуки национального гимна: «Германия, Германия превыше всего». Мы глядели на него и не верили ему. Мы были даже возмущены им, пока не увидели собственными глазами и сами не прочли бюллетеня от строки до строки. Тогда мы умолкли и больше ни разу не упоминали об этом инциденте. Но воспоминание о нем продолжало разъедать наши души.

Нету хуже той напасти,
Как служить в пехотной части,
Пешки день-деньской идешь,
Только ляжешь, гложет вошь
Только вшу почнешь гонять,
По окопу бомбов пять.
Все печенки перевернутся,
Тут команды раздадутся:—
«Эй, ребяты, не сиди.
На штыки время итти!»..
От царя исподняя,
Зато шкура родная,
Так мне станет жалко шкуры,
Не испортил б враг фигуры,
И фигуру и лицо,
Обручальное кольцо.
Станут ножки, что пуды,
А податься некуды...

Солдатские частушки. Из книги Федорченко «Народ на войне».

УЖАС

Из романа «На западном фронте без перемен». Эрих-Мария Ремаркэ

Мне фронт представляется каким-то жутким водоворотом. Даже и тогда, когда находишься далеко от центра его, в спокойной и тихой воде, ощущаешь его всасывающую силу, которая увлекает за собой медленно и неотразимо, не допуская сопротивления.

В то же время и от земли и от воздуха к нам устремляется иная сила — сила инстинкта самосохранения. И больше всего от земли... Ни для кого земля не имеет такого значения, какое она имеет для солдата. Когда он прижимается к ней долго, страстно, когда он глубоко зарывается в нее лицом своим и всеми своими членами, охваченный смертельным страхом перед огнем, тогда она — его единственный друг, его брат, его мать. Он изливает свой страх и свои вопли в ее молчание и всеобъемлющую тишину. Она воспринимает их, отпускает его снова от себя, на новые десять секунд движения и жизни, и вновь принимает его, иногда навеки.

Земля!.. земля!.. земля!..

О, ты, земля со складками почвы, ямами и углублениями, в которые можно броситься, в которых можно укрыться! Земля! В мгновенья судорожного ужаса и пароксизма уничтожения, под смертельный рев взрывающихся снарядов, прикосновение к тебе вливало в нас могучую волну вновь обретенной жизни. Безумный вихрь разодранных в клочья жизней, растворившись в тебе, передавался нашим рукам, нашедшим в тебе спасение, и они впивались в тебя, а губы наши прижимались к тебе в немом трепете страха перед пережитым и счастья избавления от опасности!

Какой-то частью нашего существа мы, при первом же звуке рвущихся гранат, сразу откатываемся назад на целые тысячелетия. В нас просыпается животный инстинкт, руководящий нашими действиями и защищающий нас. Он не сознается нами, он действует гораздо быстрее, точнее и безошибочнее, чем наше сознание. Объяснить этого нельзя. Идешь и ни о чем не думаешь. И внезапно оказываешься

лежащим в какой-то луже, а над тобой пролетают осколки. Но при всем желании ты не можешь вспомнить, что слышал свист приближающейся гранаты или подумал о том, чтобы лечь. Если б положиться на сознание, ты был бы уже превращен в груду окровавленного мяса. Нечто другое, какое-то ясное и четкое чутье, существующее в нас, заставляет нас лечь и спасает нас, и мы не знаем даже как. И если б не было этого чутья, то от Фландрии и до самых Вогез не осталось бы больше ни единого живого человека.

Мы выезжаем из тыловых бараков, и мы просто солдаты, находящиеся в хорошем или дурном настроении... Мы все упаем в зону, где начинается фронт, и в нас просыпаются первобытные, звериные инстинкты...

На пути нам попадается реденький лесок. Мы проезжаем мимо укрывшихся в нем походных кухонь. За лесом мы слезаем с грузовиков. Они уезжают назад. Завтра они должны приехать за нами до рассвета. Туман и дым от стрельбы густой пеленой стелются по полю, местами почти достигая высоты человеческого роста. Светит луна. По дороге проходят войска. Стальные шлемы бледно отсвечивают в лунных лучах. Головы и концы винтовок выступают из белой пелены тумана — кивающие головы, покачивающиеся дула винтовок...

Дальше впереди туман прерывается. Головы превращаются в человеческие фигуры — куртки, брюки и сапоги выступают из тумана. Они образуют колонну. Колонна движется прямо вперед, фигуры сливаются вместе, образуя сплошной клин. Отдельных людей не видно. Только темный клин продвигается все дальше, постепенно дополняясь выплывающими из тумана головами и винтовками. Людей нет — движется колонна...

По боковой дороге проезжают легкие орудия и зарядные ящики. Спины лошадей блестят при лунном свете. Их движения красивы, они откидывают головы: видно, как сверкают их глаза. Орудия и повозки скользят на туманном, залитом лунным светом фоне. Верховые в своих стальных шлемах напоминают рыцарей прошедших времен. В этом

зрелище есть какая-то волнующая красота. Мы направляемся к передовому парку. Одни из нас нагружают себе на плечи изогнутые железные прутья с заостренными концами, другие просовывают гладкие железные палки сквозь катушки с намотанной на них железной проволокой и забирают их с собой. Ноша наша неудобна и тяжела.

Почва под нашими ногами становится все более изрытой. Спереди доносятся предупреждающие окрики: «Внимание! Слева глубокая воронка»! «Осторожно! Канава!» Наше зрение напряжено, наши ноги и палки нащупывают почву, раньше чем принять на себя тяжесть наших тел. Внезапно передние ряды останавливаются. Кое-кто ударяется лицом о катушку колючей проволоки, которую несет идущий впереди. Слышится брань.

Оказывается, что путь преграждают несколько разбитых снарядами повозок. Раздается новая команда: «Перестать курить!» Мы подошли вплотную к окопам.

Уже совсем стемнело. Мы огибаем небольшую рощицу, и перед нами наш сектор.

Какой-то неопределенный, красноватый свет тянется от одного конца горизонта до другого. Он находится в постоянном движении и прорезывается яркими вспышками, исходящими, повидимому, от неприятельских батарей. Взлетают горящие ярким светом ракеты, серебристые и красные шары, лопающиеся и рассыпающиеся белыми, зелеными и красными звездами. А вот и французские ракеты. Взлетев вверх, они раскрываются шелковым зонтиком и плавно опускаются вниз. Они освещают все кругом ярким светом. Этот свет доходит и до нас, и мы видим на земле свою яркую очерченную тень. Они держатся в воздухе в течение минуты и более, а когда потухают, сразу же на их место взлетают новые. А затем снова красные, зеленые и синие.

— Погано.... — ворчит Кат.

Грохот орудий усиливается, растет, сливается в глухой гул и снова распадается на отдельные группы взрывов. Сухо трещат пулеметные залпы. Воздух над нашими головами наполнен свистом и шипением, словно в нем проис-

ходит какая-то невидимая погоня. Это работают орудия малого калибра; но изредка вступают и самые огромные махины и швыряют в ночь чудовищные снаряды, разрывающиеся где-то далеко позади нас. Эти снаряды, пролетая над нами, издают воющий, хриплый звук, напоминающий крик оленя, преследующего свою самку. Их путь лежит высоко над несущимися с воем и свистом снарядами меньшего калибра. Яркие световые полосы прожекторов все чаще и чаще пробегают по небу. Они скользят по небесному своду, словно гигантские, суживающиеся к концу линейки. Одна из них останавливается, слегка вздрагивая. Сразу же к ней приближается другая. Они скрещиваются. Между ними виднеется какое-то черное насекомое, пытающееся ускользнуть. Это летчик... Он теряет уверенность. Свет ослепляет его. Вот закачался аппарат...

Мы втыкаем железные колья на равном расстоянии друг от друга и натягиваем колючую проволоку. Двое товарищей поддерживают катушку, остальные разматывают проволоку. Это та самая отвратительная проволока, часто унизанная длинными шипами. Я отвык в последнее время от разматывания проволоки и ухитряюсь сильно поранить руку.

Через несколько часов работа окончена. Но нам нужно ждать, пока приедут за нами грузовики. Большинство из нас укладывается на землю и засыпает. Я пытаюсь последовать их примеру. Но становится слишком прохладно. Чувствуется, что мы находимся поблизости от моря,— каждую минуту просыпаешься от холода.

На несколько мгновений я забываюсь сладким сном. Внезапно проснувшись, словно от толчка, я не могу никак сообразить, где я нахожусь. Я вижу звезды, вижу взлетающие вверх ракеты и в течение нескольких секунд мне кажется, что я заснул во время праздника в саду. Я не знаю, утро ли теперь, или вечер. Я лежу в бледной колыбели сумерек и жду, что раздадутся какие-то полные нежности слова. В них должна прозвучать мягкая, теплая ласка... Неужели я плачу? Я провожу рукой по глазам. Как странно... Неужели я ребенок? Нежная кожа... Все это

длится только одну секунду. Затем я различаю силуэт Катчинского. Он сидит спокойно, этот старый солдат, и курит трубку, снабженную, конечно, крышечкой. Заметив, что я не сплю, он говорит:

— Здорово ты вздрогнул. Это всего на-все зажигательный снаряд. Он упал здесь в кустах.

Я подымаюсь и усаживаюсь около Катчинского. Я чувствую себя до жути одиноким. Как хорошо, что здесь Кат. Он задумчиво смотрит в сторону передовых линий и бормочет:

— Шикарный фейерверк, нечего сказать. Если бы он только не был так опасен.

В некотором расстоянии позади нас взрывается снаряд. Новобранцы испуганно вскакивают. Через несколько минут над нашими головами снова проносится снаряд и взрывается ближе, чем первый. Кат вытряхивает свою трубку.

— Начинают поддавать жару!

И в самом деле начинается... Мы торопливо отползаем от опасного места. Следующий снаряд ударяется где-то между нами.

Раздаются крики. На горизонте поднимаются зеленые ракеты. Темными брызгами взлетает грязь, жужжат осколки. Еще слышно, как они, падая, ударяются, в то время как уже давно затих грохот взрыва.

Рядом с нами лежит напуганный новобранец. У него светлые, как лен, волосы. Он изо всех сил прижал руки к лицу. Его шлем откатился в сторону. Я достаю его и хочу нахлобучить ему шлем на голову. Он поднимает глаза, отталкивает шлем, подползает ко мне и, как ребенок, просовывает свою голову под мою руку, поближе к моей груди. Узкие плечи его вздрагивают. Такие же плечи были у Кеммериха.

Я не препятствую ему. Но, чтобы шлем хоть на что-нибудь пригодился, я украшаю им его зад. Не из озорства, конечно, а вполне обдуманно, так как эта часть его тела, сейчас больше всего выдается. Хоть здесь немного мяса, но ранения ягодиц чертовски болезненны. При таких ранениях приходится месяцами валяться в лазарете на брюхе и почти наверняка остаться хромым.

Где-то снаряд наделал больших бед. В промежутках между взрывами слышны крики.

Наконец, около нас все успокаивается. Снаряды теперь ложатся позади нас, на линии запасных окопов. Мы решаемся приподняться и оглядеться кругом. В небе трепещут красные ракеты. Должно быть, готовится атака.

У нас попрежнему спокойно. Я сажусь и трясу за плечо белокурого новобранца.

— Ну, прошло, мальчик, на этот раз миновало!

Он со страхом оглядывается кругом. Я стараюсь успокоить его.

— Ничего, привыкнешь понемножку.

Он замечает свой шлем и надевает его на голову. Понемногу он приходит в себя. Внезапно он весь заливается краской. Вид у него ужасно сконфуженный. Осторожно протягивает он руку назад и страдальчески смотрит на меня. Я сразу понимаю, в чем дело: медвежья болезнь. Собственно говоря, я не с этой целью пристроил раньше шлем... Но я утешаю его:

— Стыдиться, тут, брат, нечего. Не такие люди, как ты, когда в первый раз попадали в огонь, накладывали в штаны... Сходи за кустик, скинь там подштанники, и делу конец.

Он сконфуженно удаляется. Становится тише. Но крик все не прекращается.

— Что там такое происходит, Альберт? — спрашиваю я.

— Там снаряды, очевидно, попали в самую гущу, — отвечает Альберт.

Крики все продолжаются. Это — не человеческие крики. Люди не могут так ужасно кричать.

— Это раненые лошади, — говорит Кат.

Я никогда не слышал, чтобы лошади кричали и не могу этому поверить. Это вопль мира, это стон истерзанного живого существа, выражение дикой беспредельной муки. Мы бледны. Детеринг выпрямляется.

— Живодеры! Живодеры! Да пристрелите же их!..

Он — крестьянин и привык к лошадям. Он потрясен сильнее всех нас. Словно нарочно почти совсем затихает

огонь. И тем отчетливее слышны крики животных. Сейчас, на фоне этого тихого, серебристого ландшафта, не понять, откуда эти крики доносятся. Они всюду, они наполняют все пространство между небом и землей, все нарастая и усиливаясь. Призрачно и жутко разносятся они кругом. Детеринг приходит в ярость.

— Да пристрелите же их! Да пристрелите же их, чорт бы вас побрал! — вопит он.

— Должны же они раньше позаботиться о людях! — говорит Кат.

Мы встаем на ноги и стараемся определить, откуда исходят эти крики. Нам кажется, что если мы увидим животных, нам будет легче. У Мейера при себе бинокль. Мы различаем темную группу санитаров с носилками и рядом с ними какие то большие черные движущиеся фигуры. Это раненые лошади. Но это не все. Некоторые из них мчатся галопом на довольно значительном расстоянии от остальных, падают и снова мчатся дальше. У одной из них разорвано брюхо и волочатся по земле внутренности. Она запутывается в них, падает, но поднимается снова.

Детеринг хватает винтовку и прицеливается. Кат резким ударом снизу вверх отводит дуло винтовки.

Детеринг, дрожа, швыряет винтовку наземь.

Мы усаживаемся и затыкаем уши. Но эти ужасные жалобные стоны и крики все же достигают нашего слуха — они проникают всюду...

Мы немало способны вынести. Но тут нас прошибает холодный пот. Хочется вскочить и бежать без оглядки, безразлично куда, лишь бы не слышать этого ужасного крика. Между тем, ведь это не люди, а только лошади.

От группы темных силуэтов там вдали снова отделяются носилки. Затем раздается несколько выстрелов. Темные фигуры судорожно дергаются и становятся плоскими и неподвижными. Наконец-то... Нет, это еще не конец. Люди не могут добраться до раненых, охваченных смертельным ужасом животных, которые стараются спастись от них... Один из солдат опускается на колено. Выстрел! Одна лошадь валится наземь... еще одна... Последняя, приподняв-

шись от земли и упираясь в нее передними ногами, вертится на месте, как карусель — должно быть у нее раздроблен спинной хребет. Солдат бегом приближается к ней и пристреливает ее. Медленно, покорно опускается она на землю.

Мы отнимаем руки от ушей. Крик умолк. Только долгий, постепенно замирающий стон все еще держится в воздухе. Но вот остаются лишь ракеты, пение гранат и звезды, — это кажется даже почти странным.

Детеринг разражается бешеными проклятиями:

— Хотел бы я знать, чем эти-то виноваты? — бормочет он, отходя в сторону. Но, сразу же повернувшись, снова возвращается к нам.

— Одно могу сказать, — кричит он почти в исступлении, — самая большая подлость это то, что в войне заставляют участвовать животных....

Мы отходим назад. Пора добираться к нашим грузовикам. Небо как будто чуть-чуть посветлело. Три часа утра. Дует свежий, холодный ветер. Лица наши при этом тусклом освещении кажутся почти серыми.

Мы пробираемся гуськом, стараясь миновать канавы и вырытые снарядами воронки, и снова попадаем в полосу тумана. Катчинский беспокоится, и это — дурной знак.

— Что с тобой Кат? — спрашивает Кропп.

— Я хотел бы, чтобы мы были уже дома. — Под словом «дома» он подразумевает бараки.

— Теперь уж недолго, Кат! — успокаивает кто-то.

— Не знаю, не знаю... — шепчет он себе под нос, явно нервничая.

Мы попадаем в один их ходов сообщения. Оттуда выходим на лужайку. Вдали уже виднеется лесок. Нам знакома здесь каждая пядь земли. Вот уже и кладбище с могильными холмиками и черными крестами.

Но в это мгновение позади нас слышится все нарастающий свист, грохот и треск. Мы наклоняемся... метрах в ста впереди нас взвивается огненный столб.

В следующее мгновение раздается второй взрыв, вздымается вверх кусок леса и медленно поднимается до уровня

вершин оставшихся стоять на месте деревьев. На этом взлетевшем вверх клочке земли беспомощно покачиваются несколько деревьев, они трещат и рассыпаются в щепы. И уже с зловещим шипением приближаются следующие гранаты...

— Под прикрытие! — кричит кто-то, — под прикрытие!...

Луга совершенно ровные и плоские, до леса слишком далеко, кроме того, там сейчас самое опасное место... Единственное место, где можно укрыться — это кладбище с его могильными холмами. Спотыкаясь в темноте, мы пробираемся на кладбище и всем телом прилипаем к невысоким холмам.

Только только во-время... Мрак сходит с ума. Он наполняется беснованием. Какие-то гигантские предметы, более темные, чем ночь, мчатся по направлению к нам, проносятся мимо. Огонь взрывов освещает кладбище.

Нигде нет спасения. При свете рвущейся гранаты я бросаю взгляд в сторону лугов. Они напоминают бушующее море, огни взрывов взлетают вверх, словно фонтаны. Всякая возможность выбраться сейчас отсюда исключена.

Лес исчезает. Он растоптан, растерзан, разодран в клочья.

Мы принуждены оставаться на кладбище.

Земля вокруг нас приподымается. Градом сыплются осколки. Я чувствую удар. Рукав моей куртки разодран осколком... Поспешно сжимаю кулак... Нет, боли не чувствуется. Но это меня не успокаивает — ранения, как известно, причиняют боль лишь значительно позже. Я провожу рукой по своему плечу, нащупываю царапину. Других повреждений, повидимому, нет. В то же мгновение что-то с силой ударяется о мой череп, и мне кажется, что я теряю сознание. Словно молния проносится в мозгу мысль: «Только бы не упасть в обморок»! И я погружаюсь в какую-то темную бездну, но сразу же снова всплываю на поверхность. Это осколок ударился о мой шлем. Он летел издалека и поэтому не пробил его насквозь. Я вытираю грязь, залепившую мне глаза. Передо мною раскрылась какая-то зияющая яма, я с трудом различаю ее. Гранаты редко попадают во второй раз в ту же воронку, поэтому

я хочу спрятаться в ней. Я делаю прыжок вперед... бросаюсь на землю... прижимаюсь к ней и ползу. Но вот уже снова свист, и я весь съеживаюсь, хватаюсь руками за что попало; ища прикрытия, нащупываю слева какой-то предмет... подползаю к нему... он поддается слегка в сторону... Стон вырывается из моей груди... Земля разверзается, давление воздуха гулом отдается в моих ушах. Я подползаю под то, что находится рядом со мною, прикрываюсь им... Смутно ощущаю, что это: дерево... сукно... Защита!.. жалкая защита от сыплющихся со всех сторон осколков!.. Я открываю глаза. Пальцы мои вцепились в какой-то рукав, сжимают чье-то плечо. Раненый?... Я кричу. Ответа нет... Труп. Рука моя продолжает нащупывать дальше... Натыкается на расщепленные доски... И внезапно я вспоминаю, что мы находимся на кладбище...

Но огонь заслоняет все остальные впечатления. Он уничтожает сознание... Я еще глубже подползаю под гроб, ища в нем защиты. И мне все равно, даже если в нем лежит сама смерть...

В нескольких шагах от меня зияет воронка. Я нащупываю края ее взглядом, словно руками. Я должен одним прыжком броситься на дно ее. Внезапно кто-то с силой ударяет меня по лицу, чья-то рука вцепляется в мое плечо. Что это? Неужели ожил покойник?... Рука трясет меня, я поворачиваю голову и при свете мгновенной вспышки огня успеваю разглядеть Катчинского. Рот его широко раскрыт, он что-то кричит. Я ничего не слышу, а он все продолжает трясти меня, приближая свое лицо к моему. На секунду наступает затишье, и тогда голос его достигает моего слуха:

— Газы!.. га-азы!... га-азы! Передай дальше...

Я выхватываю противогазовую маску... На некотором расстоянии от меня лежит кто-то... Я думаю сейчас только об одном: тот, кто лежит там должен, узнать: «Га-а-зы, га..а...азы»....

Я кричу, стараюсь подвинуться к нему поближе, пытаюсь задеть его маской, но он ничего не замечает... еще раз... еще... он съеживается не поднимая головы. Это новобра-

нец. Я с отчаянием взглядываю на Ката. Он уже в маске. Я спешу надеть свою... Шлем летит в сторону. Я натягиваю маску на лицо и ползу к своему соседу, нащупываю его маску, выхватываю ее и натягиваю ее ему на лицо. Он хватается за нее руками... я отпускаю ее... и внезапно соскальзываю вниз в воронку.

Глухой треск гранат, начиненных газом, смешивается с грохотом снарядов... Сквозь гром орудийной пальбы доносится звон колокола... гонгов... слышится звук металлических трещеток, возвещающий всем кругом: газы... газы... га..азы...

За своей спиной я слышу мягкий стук падающего тела, затем еще раз и еще.. Я протираю запотевшие от дыхания стекла моей противогазовой маски. Это Кат, Кропп и еще кто-то. Мы лежим вчетвером со страшным, настороженным напряжением, до последней возможности сдерживая дыхание.

Эти первые минуты в маске — решающие. Достаточно-ли она плотна — в этом вопрос жизни или смерти. Я вспоминаю страшные картины, виденные мною в лазарете: отравленные газами, в безмерных муках неделями выплевывающие кусками свои сожженные легкие.

Я дышу осторожно, прижавшись губами к патрону. Газ стелется по земле и опускается во все впадины. Словно мягкое, широкое студенистое животное, ложится он и в нашу воронку и растягивается в ней, занимая ее целиком. Я подталкиваю Ката: лучше уж вылезть и лежать наверху, чем остаться здесь, где больше всего скапливаются газы. Но мы не успеваем привести в исполнение свое намерение. Начинается новый огненный дождь. Кажется, что ревут уже не орудия. Кажется, что взбесилась сама земля. Что-то черное с треском валится к нам вниз и с силой ударяется рядом с нами. Это вырванный из земли гроб.

Я вижу, что Кат шевелится, и подползаю к нему. Гроб свалился на вытянутую руку четвертого нашего соседа по яме. Свободной рукой он пытается сорвать с себя противогазовую маску. Кропп успевает во-время помешать ему, с силой загибая его руку ему за спину.

Кат и я пытаемся освободить раненую руку. Крышка гроба приподнялась и еле держится. Нам легко удается оторвать ее. Покойника мы выкидываем прочь и он тяжело падает на дно воронки. Затем мы пробуем приподнять и нижнюю часть гроба.

К счастью, раненый теряет сознание, и Кропп благодаря этому может притти нам на помощь. Нам не нужно уже больше действовать так осторожно, и мы работаем изо всех сил. Мы подсовываем под гроб лопаты, и он, наконец, со скрипом поддается.

Стало несколько светлее. Кат отламывает кусок крышки, подкладывает его под раздробленную руку и мы обматываем ее всеми бинтами, имеющимися в наших индивидуальных пакетах. Большего в данных условиях мы сделать не можем.

Голова моя под газовой маской гудит и звенит. Она готова лопнуть. Легкие напряжены до крайности. Они вынуждены дышать все время одним и тем же горячим, уже отработанным воздухом. Жилы на висках вздулись. Мне кажется, что я задыхаюсь.

Медленно просачивается к нам тусклый свет наступающего утра. Ветер проносится над кладбищем. Я осторожно вылезаю на край воронки. В грязных сумерках я вижу оторванную ногу. Сапог на ней совершенно цел. Я успеваю совершенно ясно разглядеть это в одно короткое мгновение. Но вот на расстоянии нескольких метров от меня подымается кто-то. Я поспешно протираю стекла маски. Они сразу снова запотевают, так я взволнован. Я с напряжением вглядываюсь и вижу, что человек там впереди — без противогазовой маски.

Я выжидаю еще несколько секунд. Нет, он не падает, он оглядывается вокруг и делает несколько шагов. Ветер рассеял газы. Воздух чист. Тогда я с хрипом также срываю свою маску и падаю на земь. Словно холодная вода вливается в меня воздух. Глаза закатываются. Волна воздуха захлестывает меня. Сознание на мгновение гаснет.

Взрывы прекратились. Я поворачиваюсь к воронке и делаю знак остальным. Они вылезают и поспешно срывают

с себя маски. Мы с двух сторон подхватываем раненого. Один из нас поддерживает его перевязанную руку. Спотыкаясь, мы поспешно пускаемся в путь.

Кладбище все разворочено. Гробы и покойники разбросаны повсюду. Их еще раз убили. Но каждый из них, разорваный в клочья, спас одного из нас.

Забор уничтожен. Рельсы полевой железной дороги, там вдали, вырванные и изогнутые, торчат вверх. Мы натыкаемся на лежащего и останавливаемся. Только Кропп продолжает двигаться вперед, поддерживая раненого.

Лежащий на земле — новобранец. Его бедро все в крови. Он так ослабел, что я хватаюсь за свою фляжку, в которой есть немного чая с ромом. Кат удерживает мою руку и склоняется над раненым.

— Куда ты ранен, товарищ?

Он подымает глаза. Он слишком слаб, чтобы ответить, мы осторожно разрезаем на нем штаны. Он стонет.

— Тише, тише, товарищ! Сейчас будет легче....

Если он ранен в живот, ему нельзя давать пить. Следов рвоты не видно. Это — хороший признак. Мы обнажаем его бедро. Оно представляет собой сплошную кровавую кашу, смешанную с осколками костей. Поврежден сустав. Этот парень никогда уже не сможет ходить без костылей. Обмакнув пальцы в чай, я смачиваю ему виски и даю ему отпить глоток из моей фляжки. В глазах его появляется жизнь. Теперь только мы замечаем, что у него кровоточит и правая рука. Кат старается распластать как можно шире марлю из двух индивидуальных пакетов, чтобы прикрыть ею всю рану.

Я ищу кругом какую-нибудь тряпку, чтобы перевязать ее. У нас больше ничего нет. Поэтому я дальше разрезаю брюки раненого, надеясь использовать кусок его подштанников вместо бинта. Но на нем таковых нет. Я вглядываюсь в него и узнаю в нем белокурого парня, который был раньше с нами.

Кат, между тем, успел из кармана одного из убитых вытащить еще несколько индивидуальных пакетов, содержи-

мым которых мы также прикрываем рану. Я говорю мальчику, который не сводит с нас глаз:

— Теперь мы пойдем за носилками.

Он раскрывает рот и шепчет чуть слышно:

— Остаться здесь...

Кат повторяет:

— Мы сейчас вернемся, мы только пойдем за носилками.

Мы не можем разобрать, понял ли он нас. Мы уходим и слышим, как он всхлипывает нам вслед: «Не уходить»!

Кат оглядывается и шепчет:

— Не лучше ли было бы просто взять револьвер, чтобы прекратить это.

Парень вряд ли выдержит переноску. В лучшем случае он протянет еще несколько дней. Но все испытанное им до сих пор ничто по сравнению с тем, что ему предстоит еще вынести, пока он умрет. Сейчас он еще оглушен и ничего не чувствует. Через час он превратится в вопящий комок невыносимых страданий. Немногие дни, которые ему осталось еще жить, будут для него сплошной безграничной мукой. И не все ли равно, проживет он их или нет?...

Я киваю головой.

— Да, Кат, следовало бы взять револьвер...

— Давай, — говорит он останавливаясь.

Он твердо решился, — я вижу это. Мы оглядываемся... Но мы уже не одни. Около нас собралась целая кучка людей. Из воронок и ям показываются головы.

Мы идем за носилками.

Кат покачивает головой:

— Такие молодые ребята!.. — он повторяет: — Такие молодые, ни в чем неповинные ребята!..

Наши потери оказались меньше, чем можно было предполагать. Пять убитых и восемь раненых. Это был лишь весьма непродолжительный орудийный обстрел. Двое из наших убитых лежат в одном из разрытых окопов. Нам остается только засыпать их землею.

Мы возвращаемся назад. Молча бредем мы гуськом друг за другом. Раненых мы доставляем на ближайший пере-

вязочный пункт. Утро пасмурное. Санитары бегают взад и вперед с номерками и записками. Раненые стонут. Начинает накрапывать дождь.

Через час мы добираемся, наконец, до наших грузовиков и влезаем на них. Теперь не так тесно, как раньше.

Дождь усиливается. Мы разворачиваем полотнища палаток и кладем их себе на головы. Дождь барабанит по этому подобию крыши. С боков стекают струйки воды. Грузовики шлепают по лужам и ямам, и мы, полусонные, раскачиваемся взад и вперед. Двое из нас стоят в передней части грузовика, вооруженные длинными раздвоенными на концах палками. На их обязанности лежит следить за телефонными проводами, так низко свешивающимися поперек дороги, что они могут сорвать нам головы. Они своевременно подхватывают провода своими раздвоенными палками и поднимают их кверху. Мы слышим их восклицания: «Внимание! Провод!» И в полусне мы опускаемся на колени и затем снова подымаемся.

Однообразно покачиваются грузовики, однообразно звучат возгласы, однообразно льет дождь. Он льет на наши головы, на головы убитых, оставшихся там, на передовой линии, и на тело маленького новобранца, рана которого несоразмерно велика для его полудетского бедра. Он льет на могилу Кеммериха. Однообразные звуки падающего дождя болезненно отдаются в наших сердцах.

Где-то раздается звук взрыва. Мы вздрагиваем. Зрение наше напрягается. Руки готовы перекинуть наши тела через стенки грузовика в придорожную канаву.

Но звук не повторяется...

Однообразно звучат возгласы: «Внимание! Провод!»... Мы опускаемся на колени, мы снова погружаемся в дремоту...

«Пролетарии Европы! Уже более года тянется война, миллионами трупов усеяны поля сражений, миллионы калек осуждены на всю жизнь быть в тягость себе и другим. Война причинила страшные опустошения. Она повлечет за собой неслыханное увеличение налогов. Капиталисты всех стран, ценой проливаемой пролетариями крови наживающие во время войны громадные барыши, требуют от народных масс чтобы они напрягли все усилия и держались до конца. Они говорят: война нужна для защиты отечества, она ведется в интересах демократии. Они лгут!..»

Из проекта манифеста Циммервальдской левой. 5—8 сентября 1915 г. Собран. Соч. В. Ленина, т. 18, стр. 418.

ГОРА «ЧЕТЫРЕХ ВЕТРОВ»

Из романа Бернгарда Келлермана — «9 ноября»

Генерал был в страшном возбуждении, взгляд его застыл...

Гора... да, письмо пробудило в нем воспоминания. Темное, щетиной заросшее чудовище вдруг встало перед глазами генерала. Гора «Четырех ветров», 4-е, 5-е и 6-е августа. Вечером 6-го она была потеряна для нас... 4-го, 5-го и 6-го громыхали мимо, раскидывая грязь, грузовики, обвешанные гроздьями людей. Красные лица, побелевшие глаза, — они кидали вверх свои каски, — урра!.. Генерал стоял на лестнице замка, держа под козырек. Какой огонь! Земля дрожала, он сейчас почувствовал это снова... Ад! Загорелся французский аэроплан и упал в парке, среди роз...

— Генерал! Батальон егерей!

— Иду!

Автомобили колыхались, катились, бешено мчались... урра!

Гора Четырех ветров была кладбищем в двенадцать этажей. Немцы, французы, немцы, французы... но они не

лежали по национальности. Мины взрывали целые этажи и раскидывали мертвецов во все стороны. Заступ натыкался на череп француза, рядом был сапог немецкого пехотинца. Он натыкался и на кости и на остовы скелетов, потому что на горе Четырех ветров раньше было кладбище, там раньше была деревня... где она теперь? Снесена до последнего камня. Мины снесли верхушку горы. Целыми пудами закладывался динамит в штольнях, целые батальоны и бригады взлетали на воздух, — да здравствует Германия, да здравствует Франция!.. Они уже больше не возвращались...

Генерал был на горе только два раза. Один раз в яркую звездную ночь (как незабвенно сияли звезды!), когда было совершенно спокойно. Из окопов несло холодом и гнилью, приходилось ступать по телам и не знать, живы они или нет. Собственно, не было ничего страшного, кроме изредка свистевших пуль, и генерал подумал, что все рассказы об ужасах горы Четырех ветров преувеличены.

Второй раз гора показала несколько больше свое настоящее лицо. Генерал в предрассветной мгле поднялся туда, куда французы бросали тяжелые снаряды, трещавшие словно обрушивающиеся дома: подобно стае хищных птиц с длинными шеями слетались они на вершину. Иногда генерала быстро сталкивали в окоп или в глубину прохода, если тени от мин проносились вблизи. На глазах своих офицеров и солдат, осторожно выглядывавших из окопов, он, не сморгнув, дал бы себя разорвать в куски.

Тогда же вырвалась у него эта, правду сказать, глупая фраза. Ну, что ж, его мозг просто отказывался работать под впечатлением этих слетающихся стальных птиц и грохота лавин. На примятой земле лежал весь пропитанный кровью кусок материи, что-то вроде разорванных штанов, в целой луже крови. Крови было так много, что генерал никак не мог предположить... одним словом, он спросил: «Кого вы тут резали?» Какая непостижимая глупость. Офицеры в окопах отвечали смущенной улыбкой. И вдруг генерал увидел кусок человека, прилипший к окопной стене, а рядом — кусок затылка с короткими волосами. Как

мучил его этот вопрос. И сейчас так ясно, со стыдом вспоминает он смущенную улыбку истомленных бессонными ночами, грязных от окопной службы офицеров...

В восемь часов он уже снова был на месте своей стоянки и завтракал...

В третий раз генерал уже не появлялся на горе. Он увидал ее в последний раз, когда она была потеряна, — вернее, он видел не ее, он видел в ночи сноп красных сигнальных огней, беспрерывно вспыхивающих на нёй, — на помощ ! — и безнадежно гасших.

Вот что представляла собой «Гора Четырех ветров»...

Тяжело дыша, шагал генерал по комнате. Ясно слышал он снова голос адъютанта... «Батальон егерей, генерал!» Так, значит, он был на одном из автомобилей, среди сотен других с красными лицами и возбужденными глазами. Он, тот самый... как его звали? — Роберт... 5-го... да, тогда, 5-го, он еще надеялся, в полдень 6-го он уже колебался и приказал сделать последнюю попытку наступления, а вечером... были только красные сигнальные огни...

ВПЕРЕД

Из романа Ярослава Гашек. «Приключения бравого солдата Швейка»

Громадную роль во время войны играет утонченное производимое в известной постепенности притупление чувств солдата и поддержка его настроения надеждами.

Если б среднего гражданина, будь то ремесленник или делец, вызвали из его родного дома, оторвали от его инструментов и привычной обстановки, так, как это делают мальчишки, вытаскивающие из гнезда молодых скворцов, и сразу же в спешном порядке отправили на фронт, где он через двадцать четыре часа очутился бы лицом к лицу с неприятелем, очень легко могло бы случиться, что в одно прекрасное утро добрая половина армии оказалась бы висящей на соснах в лесу и на сливовых деревьях вдоль дороги. Солдаты от отчаяния сами повесились бы; они не смогли бы вынести ужаса такого резкого перехода.

Поэтому приспосабливание происходит постепенно, одна ступень следует за другой в последовательном усилении, точь в точь как при приеме мышьяку, который начинается с одной пилюли.

Прежде всего грязь казарм и наглая грубость офицеров, гнусное обращение под лицемерным покровом заботливости, отвратительная пища, ужасные нары для спанья, затем вонючая теснота вагона, утомление и полное истощение от непосильных переходов и каждый день надежда, что завтра это наверно все кончится, что тебе не придется участвовать в сражении, и что ни с кем из нас ничего не случится.

Вера в то, что завтра конец, мешает тому, чтобы солдаты взбунтовались или покончили с собой. То, что жизнь становится все более скотской и превращается в ад,— способствует тому, что солдат перестает бояться смерти и становится равнодушным к опасности. Создается душевное состояние, которое Гавличек охарактеризовал следующими словами:

«Я австрийский гражданин? Что же со мной может произойти еще худшего?»

Поэтому на следующее утро, в то время, как офицеры совещались, как ежеминутно подъезжали ординарцы, а телефонисты скатывали телефонные провода, солдаты батальона, к которому принадлежал Швейк, уже стояли наготове, тупо опустив головы, как бараны на бойне.

Никто уже не произносил ни слова, и все стали страшно замкнутыми. Когда, немного погодя, загремели с небольшими интервалами пушечные залпы и притом так близко, что земля под ногами задрожала а несколько минут спустя где-то позади завыли и тяжелые орудия, все только побледнели и каждый поглядел на своего соседа, следя за сменой красок на его лице. Паники не было. Да и не было основания для паники. Солдаты сами, не дожидаясь приказаний, перекинули за спину ранцы, и всеми при этом владела одна и та же мысль: «после, когда мы побежим, я брошу ранец, не стану же я из-за него мучиться».

Затем полковник Загнер скомандовал: «внимание!» И взобравшись на пустую бочку произнес речь.

Он напомнил солдатам о том, что они присягали быть верными своему знамени и защищать его. При этом он подчеркнул, что неприятель оттеснен уже почти к самой границе. Еще несколько метров, и русские на коленях будут молить о пощаде. Он заклинал солдат не бояться. Он, мол, проведет их сквозь железные стены, они заслужат название «железного полка», никогда не отступавшего и всегда одерживавшего победу. Он уверял, что чем скорее будет достигнута решающая победа на поле битвы, тем скорее наступит возвращение к покинутым семьям, в объятия любящих супруг. Он сказал, что наш славный союзник Вильгельм (унтер-офицеры при этом принялись подталкивать солдат: «кричите ура! да здравствует император Вильгельм! или вы будете привязаны к деревьям»), имел в виду именно нынешнюю осень произнося слова «вы будете дома раньше, чем листья опадут с деревьев», и что это, конечно, совершенно правильно. Больших боев и опасности больше-де не будет, потому что у русских нет больше снаряжения и они могут наполнять гранаты одним только песком. Если кто-нибудь окажется раненым, то пусть сам наложит себе повязку и отправится на перевязочный пункт. Если по стратегическим соображениям будет дан приказ отступать, то не оставлять раненых, а забирать их всех с собой. Легко раненые, пусть ничего не бросают из амуниции, особенно винтовку, пусть приносят с собой на перевязочный пункт, где и сдадут ее. «Винтовка, — разгорячился полковник, — не булка, которую можно в несколько минут испечь! Если вы вернетесь без винтовки, это будет равносильно тому, что вы подвергнете смертельной опасности своих товарищей, которым нечем будет защищаться от неприятеля. Тот, кто принесет с собой винтовку, получит пять крон. Кто не принесет ее, после выздоровления или после смерти, не получит отпуска! А теперь прокричим ура в честь его величества императора! Ура, ура, ура!»

«ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, УНИЧТОЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА»

«О беспримерную стойкость германских и австрийских войск разбиваются все гнусные планы нарушителя своего слова, кровавого русского царя и его союзников, будь то хитрые японки, лицемерные британцы, хвастливые французы, лживые бельгийцы, неблагодарные буры, тщеславные канадцы или полудикие, насильно привезенные индусы, туркосы, зуавы, негры и прочая мразь».

«Курьер», орган германского союза рабочих транспорта, 25 октября 1914 г.

ИЗ МАНИФЕСТА ЦК РСДРП ОТ I/XI 1914 ГОДА

С чувством глубочайшей горести приходится констатировать, что социалистические партии главнейших европейских стран своей задачи не выполнили, а поведение вождей этих партий, и в особенности немецкой — граничит с прямой изменой делу социализма. В момент величайшей всемирной исторической важности большинство вождей теперешнего, второго (1889 — 1914) социалистического интернационала пытаются подменить социализм национализмом. Благодаря их поведению, рабочие партии этих стран не противопоставили себя преступному поведению правительств, а призвали рабочий класс слить свою позицию с позицией империалистических правительств. Вожди интернационала совершили измену по отношению к социализму, голосуя за военные кредиты, повторяя шовинистические («патриотические») лозунги буржуазии «своих» стран, оправдывая и защищая войну, вступая в буржуазные министерства воюющих стран и т. д.

Автор манифеста — В. И. Ленин, собр. соч., т. 18, стр. 62.

ПОЛЕ СМЕРТИ

Из дневника Д. М. Фурманова

Я был в Саракамышских горах. Печальная картина. Масса трупов раскидана по склону, а у нижнего Саракамыша человек 100 — 120 просто свалено в кучу и до сих пор еще не убрано, а тому делу уж несколько недель. Есть хорошие лица. Один молодой красивый турок зажал

в руке какой-то кисет да так и остался с ним. На лице — ни морщинки страдания. Правильное, спокойное, красивое выражение, глаза закрыты, верхняя губа немного приоткрыта, и оттуда блестят здоровые, белые зубы. Хороший был сын. В лице какое-то благородство и сдержанность. Он был грациозен и строен, как горец, сладкоречив, как Одиссей. Хитрости совершенно не было — о том свидетельствует прямой, высокий лоб и тонкие художественные губы. Жалко стало такого красивого, милого юношу. Сколько было впереди жизни — самой полной, самой радостной, и вот, поди ж ты, нежданно-негаданно угодила шальная пуля прямо под сердце. Мне тяжело было долго над ним останавливаться, и я отошел к старику, который, подложив руку под щеку, скрючился, словно на постели, и совсем не походил на мертвеца. Сморщенное, худое лицо просило непрестанно отдыха. Чувствовалась большая нервность, долголетняя усталость и непрестанные жалобы на тягу жизни. И получалось такое впечатление, что он вот только что пришел с работы — заморенный, больной и, не дойдя до дому, прилег здесь отдохнуть. А дома уж непременно ватага черномазых ребятишек и вечно недовольная и ворчливая жена. А теперь вот, осталась одна — мается, стонет и вспоминает то-и-дело своего кормильца-поильца. И сколько теперь у нее нашлось бы для него ласковых, заботных слов, сколько проснулось бы любви, если б только увидела его здесь, на поле! Но не увидит никогда, да и слава богу, — меньше страданья. Все же будет надеяться: а может, в плену, — а вот вернется, вот придет снова... Не дождешься, старушка, никогда не придет он к тебе.

А вот араб. Чинный, суровый, властный хозяин широкой степи и своего любимого белого коня. Конь будет тосковать по нем, будет жалобно и протяжно ржать, напрасно поджидая своего верного и смелого седока. С упорным, почти надменным взором, не признав мученья, — он умер. Пуля попала в живот, но смерть не могла быть моментальной. Страдания были тяжки и продолжительны. Лицо мало отразило страданья — на нем легла печать су-

рового проклятья и тоски по любимой степи. Много их, молодых и юных, прекрасных и морщинистых, могучих, суровых и властных, робких, нежных и трепещущих. Не разбирала смерть. Клала ряды за рядами, возвышала свои молчаливые укрепления. Жутко здесь на поле. А это безучастное, голубое небо словно презрение затаило в своем беспечном молчании; словно постоянством и неувядаемой своей свежестью хочет особенно и ярко подчеркнуть всю несуразность и дикость этой ненужной, свирепой резни. Успокоились бойцы. Кому-то, за что-то отдали свои жизни, кому-то принесли собою жертвы. А жизнь течет, и только изумляется человеческой жестокости, человеческому неразумию. Шла она, идет и будет итти своим путем. Слишком мало эти жертвы ускорят ее тяжелый ход. Эти жертвы — не добровольные жертвы, а потому и кровь их не очищает. Другое дело, когда целые кадры идут за идею; за святое дело, за ясно сознанную возможность достижения,— тогда на крови павших бойцов создаются колонны молодой, новой жизни.

СЕРЫЕ ВОЛНЫ

Ряды за рядами вдали колыхались
И, серой волною плывя по снегам,
То медленно, густо и плотно сливались,
То мелкою дробью в полях рассыпались,
Темнея по белым холмам...
И вот они близко... Совсем уж подходят,
Прямыми рядами, как нити ползут,
Как будто чего-то они не находят,
Как будто в той песне, что глухо заводят,
Они про тоску и неволю поют...
И грустно мне стало от песен забытых,
Повеяло на душу силой родной...
Я видел их гнойных, больных, перебитых,
Мне чудился стон из могил незарытых,
Мне чудилась гостья с косой.
И не было мощи в усталом их пеньи,

И не было страсти в померкших глазах.
Они в своем долгом, беззвучном томленьи
Развеяли силы в могучем терпеньи
И жар утишили в сердцах.
И шли они бодро, и песня лихая
Могучим призывом из сердца рвалась,
Но чудилось мне, что та песня больная,
Что в сердце ее,— и борясь и рыдая,
Унылая дума вплелась...
Когда же умолкли и тихо без звука
Они колыхались, волна за волной...
Мне сделалось жутко... И злая разлука...
И встречи последней прощальная мука
Блеснула за серой спиной.
И радости мощной, подъема живого
Не вызвали в сердце родные полки...
От серой волны и от клича больного
Мне в душу, как будто со дна гробового,
Пахнуло удушьем тоски...

МЕРТВЫЙ ЛАЗАРЕТ

Рассказ Клауса Нейкранц

Было это в один из последних жарких дней лета 1918 года. Я совершал обход по улицам и кварталам Сен-Кентина. Высоко над нами с легким жужжанием парили английские аэропланы.

Я шел все прямо, вдоль фасадов домов. Шел по узеньким переулочкам, в которых раньше никогда не бывал.

Внезапно я почувствовал какой-то резкий запах, какой-то тяжелый сладковатый запах разложения, живо напомнивший мне поля трупов на холме Лоретта.

Моим первым движением было повернуть назад. Прочь, прочь от этого отвратительного запаха! Я ясно чувствовал, что, если я не поверну назад, перед моими глазами предстанет нечто нестерпимо страшное.

Я все же двинулся дальше, навстречу ужасному запаху.

Посреди маленького, тихого садика, в стороне от улицы, возвышалась часовня. Я прошел по усыпанной песком, раскаленной солнцем площадке по направлению к входу в часовню. Двери ее были широко раскрыты. Сбоку от дверей виднелась небольшая вывеска: «Полевой лазарет № VII».

От чудовищной вони, пахнувшей мне навстречу, я чуть не потерял сознания. Я отвернулся и закурил папиросу. За дверьми, на каменных плитах пола, лежал человек, одетый в одну лишь серую солдатскую рубаху. Лицо его было обращено к полу. Тело покоилось среди черной, засохшей лужи крови, по которой ползали мириады мух. Вокруг живота и бедер свисали лоскутья пропитанной кровью повязки. Казалось, что человек этот перед смертью пытался выползти из часовни.

Я глубоко затянулся табачным дымом и ногой раскрыл дверь, ведущую в алтарь. Туча мух взлетела вверх. Запах разложения, словно кулаком, ударил мне прямо в лицо. А затем я вдруг увидел все...

Тут валялся труп... там другой... на походных койках... на соломенных тюфяках... на каменных плитах пола. У одного мертвеца почерневшие губы выпятились вперед, словно он собирался свистнуть. Глаза были раскрыты и, лишенные зрачков, уставились в потолок. Лицо его соседа было покрыто лигнином. Узкая желтая рука с длинными, изогнутыми ногтями свешивалась до земли...

Койка за койкой... койка за койкой... Все, все мертвецы!

Перед алтарем, на обитом цинком столе, лежал труп, у которого были отрезаны ноги. К запекшейся крови, покрывавшей линию разреза, прилип черный, блестящий комок мух. Голова с широко открытым ртом была откинута назад и свешивалась со стола. Казалось, будто этот человек умер в момент пароксизма нестерпимой боли, и на устах его застыл не успевший полностью вырваться вопль... Поверх разодранного, почерневшего живота валялась немецкая газета, испещренная жирными пятнами. В верхней части листа можно было прочесть отпечатанные крупным шрифтом слова: «Выше знамена!»

Желтое искаженное лицо юноши, почти мальчика, было прикрыто лоскутом бумаги, на котором значилось:

Ганс Юрген, 41-й пех. полк, сконч. 6/VIII.18.

«Сконч.» — это слово было сокращено. Я положил записку себе в карман.

Один из мертвецов свесился всем корпусом с кровати. Голова его лежала в луже засохшей крови. В таком положении он, повидимому, умер...

Из ведра, покрытого целой тучей жирных мух, высовывалась чья-то ампутированная рука.

Неужели это все люди, убитые газом, люди, чьи внутренности изъедены беловатым, дурманно пахнущим фосгеном?

На стуле, рядом с одним из покойников лежала записка:

«10.IX. 1918 г.

Товарищ! Ради Христа, немец ли ты, или француз, все равно, если ты найдешь эту записку, напиши моей жене, Анне Б..., Дортмунд, ...улица № 7. Отошли ей часы; в мешечке на моей груди есть еще немного денег. Не пиши ей о том, как мы здесь умирали. Все мы издыхаем... Врачи и санитары ушли еще вчера. Они говорили, что придет смена, но я этому не верю. Все мы умрем. Этот крик ужасен. Никто его не услышит. Спина моя разбита. Жене моей не пиши о том, что ты здесь видел.

11.IX.1918. Никто не приходит. Кое-кто еще продолжает звать на помощь. Хоть бы мы уже скорее все умерли. Я лежу в крови и испражнениях, я не...»

Письмо прерывалось на этом слове. Тонкой, словно оборванной черточкой кончалась буква «е».

В эту ночь, лежа в окопе, я написал два письма. Одно — его превосходительству, кавалеру таких-то орденов, командиру 221-й пехотной дивизии, второе — госпоже Анне Б... Дортмунд, N-ская улица, № 7. Через неделю специально командированный отряд, снабженный противогазовыми масками, похоронил трупы, валявшиеся в часовне, на площадке перед ней. Вырыли большую яму и свалили в нее тела вместе с тюфяками и подстилками, не пожалели и извести. Кто-то на деревянном кресте, водруженном на могиле, вывел химическим карандашом:

«Здесь покоятся 83 храбрых германских солдата. Они волею Божиею умерли смертью героев».

В той же часовне в Сен-Кентине ныне снова возносят молитвы к Господу Богу. Запах ладана крепче запаха разлагающихся тел восьмидесяти трех умерших солдат.

Восходи-восходи, солнце ясное,
Восходи-восходи по поднебесью,
Кровь-войну пригрей, повысуши,
Солдатскую долюшку повыслушай.
Как и день идешь, как и ночь бредешь,
Как ни дня не видать, ни звездочек,
Как нету ни роденки, ни женушки,
Ни родителей и ни детушек,
А как всем людям здесь судьба одна,
Как судьба одна, смерть-страшна война.

Из солд. песен, Федорченко «Народ на войне»

ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЕ

Из романа «Четыре пехотинца» Эрнста Иогансена

Пять часов утра.

Сообщение с батареи в «Долине мертвецов»: «Два орудия разбиты неприятельскими снарядами. Отравленные газами, убитые, раненые. Немедленно требуется замена орудий». Через несколько часов подвозят новое орудие. Батареи больше не существует. Несколько уцелевших солдат в блиндаже — вот все, что осталось. «Установите его. Сейчас как раз минута затишья. Мы уже ничего не сможем сделать. Увидите сами». Орудие установлено. Подносят снаряды, мешки с песком. Раздается первый выстрел. После получасового сильного обстрела снарядами, начиненными газами, в долине раздается такой же треск и гул, как прежде. Последнее стрелявшее орудие умирает, также как и остальные. В батарейный блиндаж вползает унтер-офицер.

— Конец! — говорит он и, закуривая папиросу, добавляет:

— Все это старичье без души и сердца затевает войны, а расхлебывать кашу приходится молодым. Нет, нет! Пора кончать! Пора кончать!..

Ужасающий треск. В блиндаж ударился снаряд большого калибра. Иов ощущает вокруг себя какую-то пустоту и осторожно шарит кругом руками.

— Это ты? — раздается голос Лорнсена. — Карманный фонарик при тебе?

Вспыхивает свет. Студент лежит навзничь, сдавленный досками и скатившимися сверху камнями. У Мюллера руки свободны, и он пытается выкарабкаться из кучи навалившегося на него мусора. Оставшееся свободным пространство очень невелико, и в нем с трудом могут двигаться четверо людей. Прежде всего они выкапывают потерявшего сознание студента, затем помогают Мюллеру. Им никак не удается освободить путь к выходу. Возможно, что он завален.

— Я думаю, что нам крышка, — говорит Иов. — Нам здесь долго не протянуть.

— Что за глупости — «крышка»! — сердито возражает Мюллер. — Нужно копать, копать...

Они находят лопату. Лорнсен хлопочет возле студента. Общими усилиями им удается расширить свободное пространство. Иов, держа в руках карманный фонарик, осторожно ползет по узенькому проходу, идущему в противоположном от выхода направлении. Он зовет, кричит. Никто не отвечает. Внезапно он видит чью-то руку и как безумный принимается голыми руками разрывать песок. Рука оказывается оторванной. Он продолжает, держа фонарь в зубах, рыть дальше, натыкается на кровавые останки. Тогда он, бросив рыть, ползет назад к товарищам.

— Ничего не поделаешь, все погибли, — говорит он. — А те, которые не разорваны снарядом, несомненно задохлись.

Студент пришел в себя. Все, напрягая последние силы, без устали раскапывают землю. Они пытаются хотя бы кружным путем пробиться к выходу. Иов орудует лопатой, остальные руками отгребают камни и песок. Почва здесь

твёрдая. Пот ручьями катится по их лицам, их руки в крови. Никогда еще не приходилось им так тяжко трудиться.

— Вот доска, — задыхаясь от напряжения шепчет Иов. — Мы находимся близко к выходу. Если он уцелел, — мы спасены.

Они оттаскивают доску в сторону. Иов пробирается вперед.

— Я вижу свет! — кричит он.

Они останавливаются на несколько минут, чтобы передохнуть. Затем снова принимаются за работу. Впереди действительно имеется крохотное отверстие, но путь далеко еще не свободен. Если сверху ударится снаряд и обвалятся остатки блиндажа, — они погибли.

— Я больше не могу, — шепчет студент. Голова его опускается.

— Вернись сюда! — кричит Мюллер. — Я сменю тебя.

Студент отползает назад.

Их предположение, что они одни остались живы — ошибочно. Один из тех, кто завален мусором, находится еще в сознании. Хотя его лицо завалено камнями, все же ему хотя и с трудом, но удается дышать. Он хочет кричать, но не может; пытается шевельнуть руками, но его пронизывает нестерпимая боль. Ему чудится, что руки его лежат в огне. Его мысли путаются. Ему представляется, что он находится внутри огромного черного шара. Шар носится по воздуху. Но вот он начинает падать... все стремительнее и стремительнее... Его окружают языки пламени. По прошествии получаса, длящегося целую вечность, он, находясь на грани безумия, умирает.

Наконец, они свободны. В нескольких метрах впереди них с диким треском рвется снаряд.

— Скорей в свежую воронку! — вопит Иов и в несколько прыжков добравшись до воронки падает на дно.

Студент, Лорнсен и Мюллер следуют за ним.

— А теперь, — кричит студент, — метров двадцать вперед, а затем полуповорот направо и вдоль по ходу сообщения. Там дальше должен быть еще хороший блиндаж

с бетонной крышей. Внутри он готов только наполовину, но это пустяки.

— Глупости! — ворчит Мюллер. — Я останусь здесь и хоть немного отдохну. Буду я, как же, скакать как обезьяна из воронки в воронку, чтобы все равно подохнуть в пути!

— Я тоже стою за то, чтобы мы остались здесь, — орет Лорнсен. Говорить обычным голосом среди царящего кругом неистового грохота невозможно. Они остаются лежать. Словно нарочно в довершение всего начинается дождь. Тесно прижавшись друг к другу, они лежат на дне огромной воронки в ожидании почти неминуемой смерти.

РУКА

Из романа А. М. Фрей «Перевязочный пункт»

В данный момент тихо: нигде вблизи не видно разрывов, но по печальному опыту мы знаем, что через самый короткий промежуток времени снова начнут долетать снаряды. Необходимо поэтому постараться убрать хотя бы человека с оторванной рукой.

Это крестьянин из Аммерзее. Удивительно, как это только он не лишается сознания от боли! Но нет, он в полном сознании и все время плачет о своей погибшей руке. Что он теперь будет делать? Ведь он больше не сможет вести плуг.

Полковой врач утешает его: «Все будет хорошо, Лоренц. Существуют прекрасные протезы с особым крючком. Этим крючком можно будет поддерживать вожжи. При помощи этого крючка можно носить тяжести и вообще делать разную работу».

Доктор говорит это несколько неуверенным тоном: он сам не совсем твердо верит, что удобно работать с протезом. Что работа вообще будет возможна... Видя, что слова его не производят желанного впечатления и Лоренц в отчаянии качает головой, он внезапно меняет разговор и дает распоряжение о немедленной отправке в тыл этого несчастного, остро нуждающегося в помещении в госпиталь.

Но куда его отправить? Просто куда-то назад, без определенного направления? Никто больше не прибывает, и раз к нам уже не являются раненые, то нет и надежды встретить поблизости какие бы то ни было летучие перевязочные отряды. Нет связи с ними... нет больше связи ни с кем. Мы не знаем даже, имеется ли поблизости какой-нибудь телефонист, обслуживающий телефонный аппарат...

Решено отправить под защитой надвигающихся сумерек четырех санитаров с носилками. Санитары идут охотно. Правда, они не представляют себе ясно, где именно им удастся сдать раненого, но их радует уж одно сознание, что они направляются «в тыл».

У Лоренца в последнюю минуту возникает странное желание.

— Где... где... моя рука... моя правая рука? — спрашивает он еле слышно.

— Ах, ее нет... Мы убрали ее... она зарыта в землю,— лжет старший врач.

— А кольцо? — с тревогой спрашивает крестьянин. — На безымянном пальце было кольцо, кольцо моей жены.— Голос его повышается, и в нем звучит возмущение.— Уже зарыта в землю, господин доктор? Значит... часть меня уже похоронили? Хоронят, значит, по кусочкам...

Он внезапно разражается неудержимым плачем, плачет от слабости, от душевной и физической муки.

Рука вместе с обтягивающим ее рукавом куртки валяется позади барака. Никто не интересовался ею. Поспешили только убрать ее подальше с глаз того, кому она принадлежала.

Функ шопотом говорит врачу, что рука еще не прибрана.

— Лоренц,— громко говорит врач,— вы напрасно волнуетесь. Все обстоит благополучно. Я сказал вам, что рука ваша зарыта, только для того, чтобы успокоить вас. На самом деле она еще здесь. Сейчас вы получите свое кольцо.

— Я хочу еще раз поглядеть на свою руку,— беззвучно шепчет крестьянин.

— К чему? То, что вы увидите, все равно теперь уже никуда не годится.

— Я хочу видеть свою руку, — настаивает раненый.

Доктор Эггельбрехт делает знак Функу, в смущении спрятавшемуся за углом барака.

Руку приносят. Функ удивляется тому, как она тяжела «мертвая». Как легка, между тем, рука, опирающаяся о твое плечо, рука, протянутая тебе навстречу для пожатия.

На глазах Лоренца Функ стягивает кольцо с холодного, липкого пальца. Он не может освоиться с положением: вот лежит крестьянин, а вот тут, на некотором расстоянии, лежит рука этого самого крестьянина.

Чудится, словно теперь он может достать ею дальше, чем прежде.

Функ подносит ближе к раненому его оторванную руку.

— Честь имею кланяться, — говорит Лоренц и левой рукой пожимает пальцы своей уже не принадлежащей ему правой руки.

Функ борется со страшным волнением, грозящим прорваться в форме смеха. Вот так происшествие: ему приходится протягивать человеку его же собственную руку для того, чтобы этот человек мог проститься с ней... или с чем же еще?..

В то время как Лоренц, лежа на носилках, скрывается вдали, Функ штыком выкапывает в земле яму и опускает туда ставшую ненужной часть человеческого тела...

ПРОТИВОГАЗ

Рассказ Ганса Марквитц

Наибольший страх нам внушали ядовитые газы. Навстречу нам, когда мы направлялись на передовые позиции, попадались целые роты отправлявшихся в тыл отравленных солдат. Они шли, поддерживая друг друга, держась за руки... Их сомкнутые веки опухли и были воспалены, — они были слепы.

Всюду по пути мы натыкались на застывшие в судорожно-скорченных позах трупы, с посиневшими лицами и огромными, выступившими из орбит глазами.

Уже накануне Даумер с волнением сказал:

— Я боюсь, что моя маска не совсем в порядке!

Позднее я застал его в тот момент, когда он что-то делал с маской Витта.

— Что ты тут делаешь? — спросил я.

— Ничего! — ответил он с явным смущением и вдруг, взглянув на меня с тяжелой как свинец улыбкой, в которой трепетал невыразимый страх, добавил:

— Такая вот противогазовая маска — в общем проклятая штука! От какого-нибудь малейшего отверстия в ней может зависеть человеческая жизнь...

И немного погодя, беззвучно упали еще слова:

— На этот раз мне уже безусловно придется наглотаться...

— Какие глупости, — сказал я, пытаясь отвлечь его от навязчивой мысли.

Даумер ничего не ответил. Он вытащил из ранца несколько засаленных листов бумаги.

— К чему это тебе?

— Я хочу написать жене...

И принялся выводить неловким, полудетским почерком: «Дорогая жена, дорогие мои детки!..»

Слезы градом посыпались на бумагу.

— Брось! — сказал я. — Не беспокой их понапрасну!

Он взглянул на меня все с той же свинцовой улыбкой. Затем достал свежий лист бумаги и перегнувшись вперед, чтобы не закапать его, снова принялся писать.

На лбу его от судорожного напряжения наметились глубокие морщины. Он грыз кончик карандаша, силясь придумать подходящее вступление. Внезапно он с бешенством расхохотался и, смяв в комок начатое письмо, швырнул его в ближайшую лужу.

— Не могу, — проговорил он, неожиданно всхлипнув. — Мой череп — словно могила. Мысли разлетаются будто ненужные стружки, и во всем виновата эта проклятая

маска... Вот тебе, дрянь ты паршивая! — Он с размаху перекинул маску далеко за насыпь окопа.

Остальные товарищи вышли из оцепенения. Комья глины вылезли из своих мокрых нор.

— Эй, приятель! Если ты раскис, то хоть на других-то тоски не нагоняй!

— У него не хватает резиновой заплатки на маске,— сказал Фрейзинг.

— Когда пустят газы, ты зажми нос и сунь фильтр в рот,— посоветовал Маус.

— Не валяется ли где-нибудь покойник, у которого сохранилась маска?..

Но поблизости не оказалось ни одного покойника.

Завязался горячий обмен мнениями о том, как помочь горю Даумера, пока, наконец, из соседнего окопа не донесся сердитый голос взводного:

— Эй, вы там! Сволочи! Заткните глотки!..

Мы замолкли, но всех нас продолжала мучить одна и та же мысль: «Необходимо во что бы то ни стало добыть для Даумера противогазовую маску».

Даумер сидел, безучастный ко всему. Мрачная улыбка залегла в опущенных уголках его рта.

— Только бы не ослепнуть! — проговорил он вдруг, на мгновение словно очнувшись.— Быть слепым это — должно быть ужасно?..

— Я с тобой согласен,— сказал Маус.— Уж лучше ногу потерять, или даже пусть хоть нижнюю челюсть оторвет... Лишившись зрения окажешься совсем беспомощным... Эх, чорт! Даже собакам нынче лучше живется, чем нашему брату..

Так мучились мы весь день. К вечеру снаряды стали рваться ближе. Гранаты словно нащупывали путь к нам.

Все бешенее... Бешенее... Нельзя было ни на мгновение вылезть из своей ямы. Стальные осколки шлепались о стенку окопа. Один из них пролетел над самым черепом Варнтса, другой попал Фрейзингу прямо в лицо.

— Ахрр!.. — вырвался у Фрейзинга клокочущий звук, и он, падая, шлепнулся лицом в грязную лужу.

«Павг!» — где-то поблизости разрывается граната.

— Газы! — кричит кто-то в соседнем окопе.

— На всякий случай,— извиняющимся тоном бормочет Маус и принимается натягивать противогазовую маску. Внезапно он замирает. Лицо его искажается, выражая безумный ужас. «Маска прострелена!..»

Даумер, словно дикий зверь, бросается к телу Фрейзинга и, ощупав его, с воплем радости вытаскивает его противогазовую маску. — У меня есть маска! — ликует он, приплясывая на месте, как безумный.

Маус наклоняется вперед. В глазах его вспыхивают странные огоньки. Еще мгновение — и оба они, Маус и Даумер, сплетясь в клубок, катаются по полу, борясь за обладание драгоценной маской. Даумер остается победителем и торжествуя напяливает хобот. Маус сыплет проклятиями, плачет, кашляет. Он не в силах отвести полубезумного взгляда от окружающих его уродливых, но сулящих спасение хоботов.

— Не спи, слышишь! — кричит Варнт.— Заткни нос и сунь в рот фильтр!

Дождь снарядов обрушивается на близлежащий лес. Лес стонет, вспыхивает ярким пламенем, валится. Ад... Стекла масок заволакиваются туманом. Через какие-то невидимые отверстия просачивается легкий чесночный запах. Я с лихорадочной поспешностью пытаюсь прикрыть недостаточно плотные места в маске. Мне это удается. Все же я успел глотнуть некоторое количество газа. Веки мучительно горят.

Рядом со мной кто-то кричит все громче и громче:

— Помогите! Помогите!..

Каждый из нас борется за свою жизнь... Сколько времени это будет длиться?

Крик Мауса понемногу превращается в хриплый стон:

— Глаза! Мои глаза...

Часа через три огонь ослабевает. Даумер сидит в сторонке. Лицо его прикрыто маской. В шее торчит осколок.

Маус лежит поперек тела Фрейзинга, почерневший, вздувшийся — отравленный газами.

ЛЕТЧИКИ

Из романа А. М. Фрей «Перевязочный пункт»

Над Фурнэ появились летчики. В первый раз целой эскадрильей. Звучат предостерегающие сигналы, но совершенно ясно, что люди еще продолжают толпиться и глазеть, вместо того, чтобы спешить укрыться под землей. Все та же дурацкая вера в свою счастливую звезду, эта неискоренимая вера, которая одна только и делает возможной жизнь на фронте: «неужели уже непременно именно в меня и попадет?»

Наконец-то хоть какое-нибудь занятное новое зрелище — целая воздушная эскадрилья. Так неужели можно пропустить такое развлечение? «Бомбы? Возможно, конечно, но может быть их и не будет...»

— Но с какой же им другой целью здесь летать? Не просвещать же кого-то там в воздухе они собираются.

Саперы из своих деревянных бараков, в которых им грозит большая опасность, бредут по рыхлому полю к отведенному им блиндажу.

Вот они добрались до него и толпятся у входа... их там человек тридцать, сорок... В это самое мгновение начинается сбрасывание бомб. Одна из них ударяется в самую середину плотно сгрудившихся у входа в блиндаж саперов. Лай орудий, которые направляют вверх недостигающие подвижной цели шрапнели, смешивается с многоголосым воем и криком раненых.

К нам на перевязочный пункт прибегает кое-кто из уцелевших и докладывает о случившемся.

Весь имеющийся налицо средний и низший санитарный персонал немедленно направляется к месту несчастья, неся с собой носилки и перевязочный материал.

И вот, в то время как бомбы продолжают сыпаться на Фурнэ, туда бегом направляется маленькая группа людей — единственная, которая в эти минуты совершенно лишена защиты и все же не ищет прикрытия. Пробираясь под градом сыплющихся сверху снарядов, они случайно

остаются невредимыми и принимаются за работу, все — санитары, фельдшера и носильщики. Смертоносная гроза понемногу стихает, наступает временное затишье.

Азам самый выдержанный и спокойный. Лицо его красно и словно окаменело. Каждое его движение целесообразно и строго рассчитано. Приказания — разумны. Фенлейн борется с некоторой нервностью. Он бледен, но все же перед лицом творящегося кругом ужаса сохраняет внешнее спокойствие. Временами он останавливается и прислушивается, не возвращаются ли летчики, но, встретив презрительный взгляд Азама, спешит снова приняться за работу. Один только Мальц не выдерживает характера: вместо того, чтобы послать носильщика, он бежит сам на транспортный пункт вызвать по телефону автомобили.

Функу впервые приходится видеть зараз такое большое число тяжелых ранений. У одного сапера сорвана вся поверхность живота. Выползают серовато-синие кишки и вяло движутся, словно собираются выползти из окружающих их лохмотьев кожи и форменного платья. Раненый лежит на спине и, что особенно ужасно, почти не кровоточит. Он только беспрестанно каким-то высоким, невыносимо жалобным голосом повторяет: «Ух, как холодно, ух, как холодно». Он охвачен этим внезапно наступающим страшным ознобом тяжело раненых. Он сам повидимому не замечает, что кисть одной его руки оторвана по самое запястье и держится только на тоненьком лоскутке кожи. Пальцы судорожно сжаты и кисть слегка покачивается, так как руку он держит согнутой и опирается на локоть. И тут также отсутствие кровотечения...

У других раздроблены руки, разорваны груди, растерзаны шеи.

Санитары перевязывают разорванные лоскутья человеческого мяса, укладывают на носилки окровавленные тела, делают подкожные вспрыскивания, от времени до времени произносят слово сочувствия... но, странное дело: врачей не видно. Где же врачи? Их ищут, но проходит довольно много времени, пока является один из них: полковой врач

из другой воинской части, находившейся в одной из ближайших землянок.

Собственно говоря, его присутствие сейчас излишне, так как низший санитарный персонал сделал уже все, что можно было сделать. Единственное, что ему остается проделать, это — пустить в ход чернильный карандаш и подписать скорбные листки.

— А там что такое? Что с теми вон там?.. Раз, два, три, четыре... их кажется там одиннадцать человек? — спрашивает врач, прищуривая близорукие глаза.

— Убитые, господин доктор!

— Ах, черт!.. — вырывается у этого толстого, плотного господина, которому очки придают особенно строгий и солидный вид. Он всегда говорит о необходимости сохранить максимальную выдержку, но сейчас лицо его на мгновение принимает растерянное и виноватое выражение.

Функ с горьким любопытством оглядывает убитых. Вот оно перед тобой лицо того, что принято называть «героизмом», это позорное лицо войны.

Его внимание привлекает жуткое и непонятное явление; глаза одного из неподвижно лежащих внезапно проваливаются куда-то внутрь головы.

Функ склоняется над телом и видит, что затылок убитого срезан целиком, словно отделен бритвой. Глаза оказались лишенными поддержки изнутри, ничто не придавливало их к передней части головы, и кажется, как будто они удалились во внутрь, подальше от гнусного зрелища окружающего их мира...

Трупы, в полном порядке сложенные в два ряда друг на друга, так, словно они стояли в строю и случайно упали спиной в траву, носят все без исключения следы чрезвычайно тяжелых ранений в затылок и заднюю часть шеи. Спереди они выглядят вполне прилично. Один держит в руке сигару; она еще тлеет...

БОИ ПОД СКАГЕРРАКОМ

Из романа Теод. Плювиера «Кули германского кайзера»

31 мая, третье лето войны . . . . . .

Начинается матч: Шеер — Джелико! В действии — математика! Стальная броня! Динамит! Военные кули — 105.000 человек!

Последняя искра погасла над Скагерраком. Мчатся 30.000-тонные кузова, расставленные колоннами и передвигаемые как величины алгебраического примера. Бронеразрывные снаряды, пробив стены и взорвавшись внутри судна, разрушают наиболее жизненные его органы. Когда они разрываются, поражаемые их осколками места накаляются до бела. Броня трескается, словно поток лавы. Человеческие тела превращаются в шипящую грязную массу. У китов имеется подкожный жировой слой в 400 миллиметров толщины. У броненосцев на шпангоутах броня из никелевой стали толщиной до 320 миллиметров. А поперечные переборки, косые и прямые, разделяющие кузов на отсеки, придают судам известную безопасность от потопления.

Светопреставление началось. Выжженные огнем башни пахнут иначе, чем заполненные газами казематы. Прильнувшие к плавающим обломкам судов лица производят впечатление идиллии. Изрешеченный капитан-лейтенант стонет так же, как и кули. Различий больше нет. Золотые нашивки или ленточки на фуражке, листья или полоски — все равно.

«Люцов» лежит в кильватере, окутанный полосой дыма, «Дерфлингер» ведет без радио, без сигналов. Все флаги сгорели. Плывет к конусу огня, три остальных следуют за ним. Адмирал без корабля мечется вдоль своей эскадры. Подплывает к «Зейдлицу», хочет пересесть на него. Вельбот с адмиральским флагом и бронированный крейсер «Зейдлиц»: расстояние 28 миль. На мостике броне-

носца обреченный на обстрел взрывающихся снарядов сигналист-матрос с распростертыми в стороны руками, словно распятый. В руках семафорные флаги. Сигнализирует:

— 20 тяжелых попаданий артиллерийскими снарядами. В трюмах и палубах пробоины. Бункера с углем затоплены. Антенны и радиооборудование уничтожены. Только три орудия участвуют в бою.

Адмирал мчится дальше, но не находит для себя судна. На «Дерфлингере» работает только еще одна башня, на «Фон-дер-Танне» одна башня, у «Мольтке» — тысяча тонн воды в трюме.

Башни — покойницкие! Казематы, из которых выкурено все живое. Борта разорваны. Все внутренние полости полны воды. Чудовища со сломанными зубами — мчатся они на неприятельское расположение.

— Миноносцы, в атаку!

Еще не совсем темно, но море уже как черное сукно. Миноносцы отсвечивают белесым блеском в ярких пучках света прожекторов. Жестяные коробки, со стенками в десять миллиметров толщины. Когда попадает снаряд, немного остается от каждого из них. Экипаж — 100, 200 человек — густо, как мухи, облепляет кучки оставшихся на воде обломков. Офицеры запевают: «Пусть гордо реет в вышине наш черно-бело-красный флаг...» Все подхватывают: «... на вышке нашей мачты!» Они молились бы или выли, если бы кто-нибудь первый начал молиться или выть. Струящееся из бункеров масло превращается в пары, в зеленый пылающий газ. В живых облитых смолой факелах древнего Рима, с костров средневековья говорили убеждения. Здесь воет лишь поджариваемое человеческое мясо.

9526 убитых насчитывает бой под Скагерраком.

Бесчисленные впадины волн — бесчисленные воронки, на дне которых одинокие утопающие делают последнее отчаянное усилие в борьбе со стихией.

Существование «Висбадена» тоже приходит к концу. Никто не мог бы сказать, какие силы удерживали судно

так долго на воде. Пробоины, шириной с ворота сеновала, зияют в бортах... Вот, сейчас только, вода достигла порога. «Висбаден» ложится на борт и идет ко дну, как наполненное ведро, — совсем мягко, без водоворота. Три плота остаются на поверхности. Головы... руки, судорожно вцепившиеся в дерево.

* * *

Когда вода подходит к самому горлу, море выглядит иначе, снаружи — только часть головы — нос, глаза, волосы...

Альбатрос, попадающий на палубу судна, заболевает: желудок выбрасывает все содержимое наружу. Человека на волнах тошнит, пока ничего не останется, — ни желудка, ни желчи. Хорошо еще, что в кишках кой-что остается, а то бы утратилось чувство верха и низа.

К шестнадцати человекам на «Висбадене» прибавилось еще несколько. В короткие моменты погружения корабля они очнулись от ошеломления и высвободились из груды трупов. Двадцать два человека прыгнули через борт.

Двадцать два человека висят на трех плотах! С перевязанной культяпкой вместо руки не долго продержишься на море. Со здоровыми руками и ногами тоже не продержишься беспредельно. К утру уже только половина висела на плотах. У остальных руки ослабели и пальцы раздались.

Как быстро гаснут лица! Губы пухнут. Вздутые рты и щеки. Глаза — как желе. Ограждают свет изнутри. К утру они были как молоко. Сейчас они зелены.

Море снова прозрачно-зеленое.

Те, что выпускают плот из рук, видны еще несколько минут. Руки, ноги, тело — клубок. Так опускаются они ко дну. Небо в беспрестанном движении, словно исполинский насос.

Зеленая волнующаяся пустыня тоже в движении. Все три плота расходятся в разные стороны. Два плывут с течением к востоку, третий отстает. Руки, поднимающиеся, чтоб послать последнее «прости», тяжелы. Ладони и пальцы набухли водой.

Море мало-по-малу очищается. От 115025 тонн английских судов, 61180 тонн германских судов остались только обломки. Человеческая кровь — жидкость исключительного сорта. Она пульсирует и работает еще в разбухающих телах, крепко липнет к обломкам. Но когда пальцы разбухнут так, что срастаются в одно целое, и кисти рук превращаются в рыбьи плавники, они вынуждены разжаться.

Матрос Карл Клеезатель еще борется.

Он висит на своем бревне.

Он без сил уже от этого высокого неба, охрип от воды и холода. Но он продолжает кричать. Воздух сам собой проходит через его глотку. Только не молчать. Кто раз склонит голову, тот — пропащий!

Он лежит тяжело, грудью вниз. Голова болтается то вправо, то влево. Глаза слипаются. Набегает волна — толчок! Он снова наверху!

...Крейсер императорского флота «Клеезатель!» Половинная скорость... Остальное все в порядке! Немного воды попало в нутро! Это из-за плохих лафетов!

Неналеко от него плывет оторвавшаяся мина. С раннего утра он видит ее. Она плывет перед ним, в том же направлении. Только немного медленнее. Он со своим бревном подплывает все ближе к ней.

— Хотел бы я знать, английская это мина или немецкая.

— Алло! Инглиш?

Мина кивает своей огромной головой.

— Йес, сер!

— Или, может быть, немецкая, из Куксгафена?

— Йа, герр! Йес, сер, Йа, герр! Йес, сер!

— Мы понимаем друг друга. У нас нет никаких разногласий. Хотел бы только я знать...

Германские мины детонируют с высоким фонтаном, английские поднимаются вверх, как дерево, и вверху уже рассыпаются широкой кроной.

Солнце выглядывает в просвет между облаками. Мир становится еще раз шире. Море — необъятная постель из мягкого шелка.

Карл Клеезатель плывет. Руки зеленые, лицо зеленое, шрам на лбу — белый как мел. Крейсер императорского флота «Клеезатель» — небоеспособен!..

Все остальное — в порядке. Солнце светит...

«Я веду вас навстречу прекрасной эпохе»!

— Его величеству, кайзеру, ура! Он ведь правду сказал: место под солнцем!..

Мина становится все ближе и ближе. Качается на волнах, как церковный колокол.

— Извините, мадам! Небольшое желудочное расстройство... Ничего, уже лучше! А как вы думаете... Мы одни вдвоем... и постель из зеленого шелка...

Да, мы выиграли войну: кимоно, чулки... Бедная Милли! И бедные китаянки! Они тоже без чулок. Слишком дешево платят... Своих малышей они укладывают спать под ткацкие станки...

Спать... А солнце сияет! Мне надо еще только знать: англичанка, немка?

Мина качается у самой его головы.

— Что, я не смогу заплатить? 6 пенсов за номер!

Мой вещевой мешок к тому же! Гамбург, Гопфенштрассе, 3! Шикарные сапоги! Я носил их только одно плавание...

Карл Клеезатель хватает за стеклянную трубку.

— Тихонечко, мадам! Это совсем не больно...

Мина детонирует, вздымается вверх, как дерево. Вверху рассыпается широкой кроной. Стоит в воздухе исполинским грибом...

«ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ ЧУЖОЙ КРОВИ»

... Нам нечего было есть. Последняя медная кастрюля покинула свое место в кухне .. последний церковный колокол был расплавлен.

Эшерши, Гейм, баварский и прусский кронпринцы уже в 1917 году писали отчаянные письма. Настроение всех слоев общества выражалось одной фразой: «Конец... Мы больше не можем». Мы воспротиви-

лись этому, мы называли такое поведение предательством. Мы настаивали на необходимости воевать до тех пор, пока возможно будет добиться сносных условий мира...

Из показаний Шейдемана[1] во время процесса в Мюнхене в октябре 1925 г.

ПЕРЕД КОНЦОМ

Отрывок из романа Э. М. Ремарка «На западном фронте без перемен».

Проходят месяцы. Это лето 1918 года — самое кровавое и тяжелое из всех. Дни стоят одетые в золото и синеву, недоступные, словно ангелы, над смыкающимся кольцом уничтожения. Все мы знаем, что мы проигрываем войну. Но об этом много не говорят... Мы отступаем, мы уже неспособны больше наступать, у нас нет больше ни людей, ни снарядов...

Но война продолжается, смерть продолжает собирать свою богатую жатву...

Лето 1918 года... Никогда еще жизнь, несмотря на все невзгоды, не казалась нам такой желанной, как теперь. Красный мак на лугах вокруг наших бараков, блестящие жучки на стеблях травы, теплые вечера в полутемных, прохладных комнатах, черные таинственные силуэты деревьев в вечерних сумерках, звезды и журчание воды, мечты и сладкий сон — о жизнь, жизнь, жизнь!..

Лето 1918 года... Никогда еще не было так тяжело и мучительно снова выступать на передовые позиции... Доходящие откуда-то странные волнующие слухи о перемирии, о мире, смущают сердца, и тем тягостнее это выступление...

Лето 1918 года... Никогда еще жизнь на позициях не была полна большей горечи и ужаса, чем в эти часы,

[1] Шейдеман — вождь правого шовинистского крыла германск. социал-демократ. партии.

под огнем снарядов, когда бледные лица зарываются в грязь, руки судорожно сжимаются и губы невольно шепчут единственную мольбу: «Нет, нет, не теперь, только не теперь, в последнюю минуту!..»

Лето 1918 года... Вихрь надежд, проносящийся над сожженными полями, лихорадка безумного нетерпения, разочарование, мучительный страх смерти, неразрешимый вопрос: «Почему, почему не кончают?.. И почему носятся слухи о конце?»

Несколько недель сплошного дождя... Серое небо... серая размокшая земля, серая смерть... Уже по дороге на передовые позиции нас охватывает сырость, пронизывает нас насквозь, пропитывает наши шинели и все наше платье. И мы так и не просыхаем в течение всего того времени, которое проводим впереди... Те, у кого еще остались сапоги, обматывают их сверху мешками из-под песку, чтобы в них не так быстро набиралась почвенная вода. Винтовки ржавеют, шлемы ржавеют, платье гниет, все кругом размокло, земля превращена в густую маслянистую кашу... Везде вокруг большие ямы, наполненные желтоватой водой, и маленькие красные лужицы крови... Убитые, раненые, уцелевшие, все медленно погружаются в болото.

С воем носится над нами буря, град осколков вырывает из серовато-желтой массы полудетские крики раненых, и ночи наполняются стоном уничтоженных жизней...

Наши руки — земля, наши тела — глина, наши глаза — дождевые лужи... Мы не знаем, живы ли мы...

Но вот, внезапно, на нас обрушивается влажная душная жара. В один из этих последних летних дней, когда мы с Катом отправляемся за обедом для товарищей, его настигает пуля. Мы одни. Я перевязываю его рану. У него, повидимому, раздроблена берцовая кость. Рана причиняет ему жестокую боль, и он отчаянно стонет.

— Теперь, вот именно теперь!..

Я утешаю его:

— Кто знает, сколько еще эта история продолжится! А ты, во всяком случае, спасен.

Сквозь повязку быстро начинает просачиваться кровь. Ката ни в коем случае нельзя оставить одного, и поэтому я не могу сходить за носилками. Да я и не знаю, где здесь поблизости санитарный пункт.

Кат не очень тяжел. Я беру его на спину и иду с ним по направлению к перевязочному пункту.

Нам дважды приходится делать передышку. У Ката от переноски начинаются сильные боли. Я отстегиваю воротник своей куртки и тяжело дышу, обливаясь потом. Лицо мое побагровело от страшного напряжения. Тем не менее я уговариваю его двинуться дальше, так как оставаться здесь небезопасно.

— Ну, что ж, как дела, Кат? Можно двигаться?

— Приходится, Пауль.

— Ну, тогда двинем.

Я приподымаю его, и он стоит опираясь на здоровую ногу и держась рукой за дерево. Затем я осторожно приподымаю его раненую ногу, он обнимает меня за шею, подпрыгивает, затем я подхватываю под коленку и его здоровую ногу.

Путь наш становится все более опасным. От времени до времени со свистом пролетают гранаты. Я стараюсь итти как можно быстрее, так как кровь из раны Ката капает на землю. Мы не можем укрыться от взрывов: они происходят раньше, чем я успеваю добежать до какого-нибудь прикрытия. Мы решаем некоторое время выждать и забираемся в небольшую воронку. Я даю Кату немножко чаю из моей фляжки. Мы выкуриваем по папиросе.

— Да, Кат, — говорю я печально, — теперь нам все-таки придется расстаться.

Он глядит на меня, не отвечая.

— Помнишь ли ты, Кат, как мы реквизировали гуся? А помнишь ли ты, как ты вытащил меня из самого пекла, когда я был еще неопытным новобранцем и в первый раз был ранен. Тогда я еще плакал... С тех пор, Кат, прошло почти три года.

Он кивает головой.

Во мне подымается страх одиночества. Когда Ката уве-

зут отсюда, здесь не останется больше ни одного из моих друзей...

— Кат, мы непременно должны увидеться когда-нибудь, если мир действительно будет заключен раньше, чем ты вернешься сюда!

— Неужели ты думаешь, что я с такой вот раздробленной костью могу быть еще признан когда-нибудь годным?— спрашивает он с горечью.

— Ты будешь иметь возможность спокойно полечиться, сустав ведь не поврежден, и может быть все еще отлично наладится.

— Дай мне папироску, — говорит Кат.

— Кат, может быть мы еще когда-нибудь потом что-нибудь вместе предпримем?

Я полон ужасной грусти. Это невозможно, чтобы Кат, мой друг Кат со своими сутуловатыми плечами и тонкими мягкими усами, Кат, которого я знаю совсем с другой стороны, чем всех остальных людей, Кат, с которым я провел вместе все эти годы... нет, нет, невозможно, чтобы я его больше никогда не увидел...

— Дай мне на всякий случай свой домашний адрес, Кат! А я тебе дам свой: я запишу тебе его.

Записку с адресом Ката я прячу у себя на груди. Каким покинутым и одиноким я чувствую себя, хотя он и сидит еще рядом со мной. Не выстрелить ли мне себе в ногу, тогда я смогу не расставаться с ним...

Кат внезапно начинает хрипеть и покрывается желтоватой бледностью.

— Двинемся дальше, — шепчет он еле слышно.

Я вскакиваю, сгорая страстным желанием ему помочь, снова взваливаю его себе на спину и пускаюсь бегом. Я бегу не очень быстро, стараясь не растревожить его больную ногу.

У меня пересохло в горле, красные и черные круги пляшут перед моими глазами. Стиснув зубы и шатаясь, добираюсь я до перевязочного пункта. Колени мои подгибаются от усталости, но все же у меня хватает присутствия духа свалиться на тот бок, где находится здоровая нога

Ката. Через несколько минут я снова поднимаюсь на ноги. Руки и ноги мои трясутся, и я с трудом отыскиваю свою фляжку, чтобы отпить из нее глоток. Губы мои при этом дрожат, но я улыбаюсь: ведь Кат — в безопасности.

Немного погодя я начинаю разбираться в доносящемся до моего слуха шуме голосов.

— Не стоило так стараться, — говорит один из санитаров.

Я гляжу на него и ничего не понимаю.

Он указывает на Ката.

— Да ведь он помер!

Я не понимаю того, что он говорит.

— У него прострелена берцовая кость, — говорю я.

Санитар останавливается.

— Да, конечно, в ногу он тоже ранен.

Я поворачиваюсь. Я все еще плохо вижу, пот снова выступил у меня на лбу и стекает мне на глаза. Я стираю его и гляжу на Ката. Он лежит неподвижно.

— Он в обмороке, — говорю я торопливо.

Санитар тихо свистит.

— Ну, в этом-то я понимаю больше толку, чем ты. Он мертв. Могу держать с тобой пари на что угодно!

Я отрицательно трясу головой.

— Это совершенно невозможно. Десять минут тому назад я с ним разговаривал.

Руки у Ката совсем теплые. Опустившись на колени, я обнимаю его за плечи и собираюсь натереть ему виски чаем. Внезапно я чувствую, что пальцы мои попали во что-то мокрое. Я отдергиваю руку и вижу, что она испачкана кровью. Санитар снова свистит сквозь зубы.

— Вот видишь...

Кат, незаметно для меня, по дороге был ранен осколком в голову. На затылке виднеется маленькое отверстие. Это должно быть был совсем не большой, случайно заблудившийся осколок. Но этого оказалось достаточно... Кат убит...

Я медленно поднимаюсь на ноги...

— Не возьмешь ли ты с собой его солдатскую книжку и вещи? — спрашивает санитар.

Я молча киваю головой, и он отдает их мне.

Санитар удивлен.

— Ведь вы же ему не родственник?—

— Нет, мы не родственники... нет, мы не родственники...

Иду ли я?... Есть ли у меня еще ноги?.. Я поднимаю глаза, оглядываюсь кругом... Все осталось по-старому...

Только солдат из запасных, Станислав Катчинский, скончался...

Сознание мое заволакивается туманом.

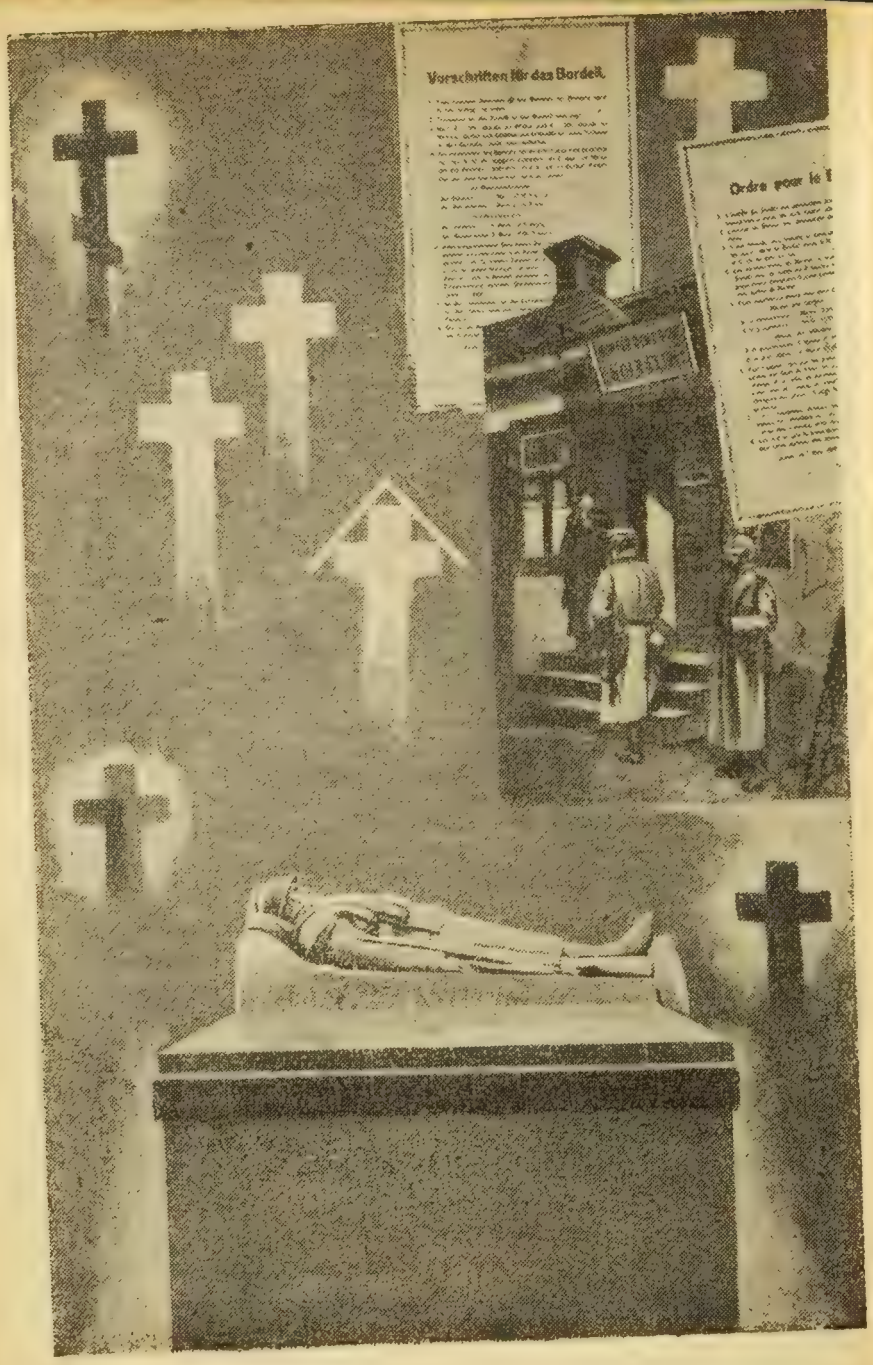
ИТОГИ

Из книги Э. О. Фолькмана «Великая война 1914—1918 г.»

Потер убитыми составляют для Германии: офицеров и прапорщиков — 53.323 чел., врачей и помощников врачей — 1 675 чел., ветеринаров и помощников ветеринаров — 183 чел., младшего командного состава и солдат — 1 751 809, чиновников — 1 555. Всего убитых — 1 808 545 чел. Кроме того еще 14 000 убитых цветных солдат, привезенных из колоний. Раненых офицеров — 96 207 чел., врачей и помощников врачей — 2 209 чел., ветеринаров и помощников ветеринаров — 158 чел., младшего командного состава и солдат — 4 148 075 чел. Всего 4 247 143 чел. раненых.

Германия потеряла убитыми и ранеными — 6 069 698 человек солдат. Франция потеряла убитыми (не считая колоний) — 1 245 800 человек, вместе с колониями — 1 354 000 солдат. Англия потеряла убитыми (не считая колоний) — 702 410 чел., вместе с колониями — 908 371 солдат. Италия потеряла 700.009 солдат. Бельгия — 115 000, Румыния — 159.000.

Россия потеряла: убитыми — 626 440 чел., умерш. от ран — 17 174 чел., отравленными газами — 38 599 чел., ранеными — 2 588 838 чел., контуженными — 126 765 чел. пленными и пропавшими без вести — 3 638 271 чел. Всего — 7 036 087 чел. (Сборн. центр. статист. управл. 1925 г.).


Vorschriften für das Bordell

В ТЫЛУ ВО ВРЕМЯ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ

«Война наполняет карманы капиталистов, которым течет море золота из казны великих держав. Война вызывает слепое озлобление против неприятеля, и буржуазия всеми силами направляет в эту сторону недовольство народа, отвлекая его внимание от главного врага: правительства и командующих классов своей страны. Но война, неся бесконечные ужасы и бедствия трудящимся массам, просвещает и закаляет лучших представителей рабочего класса».

В. Ленин. Воззвание о войне. Соб. соч., т. 18. стр. 183.

... Заслуга этих немногих писателей заключается в том, что они решились во время войны писать против войны.

Иоханнес Бехер

В ОТПУСКУ В ПАРИЖЕ

Из романа «В огне» Анри Барбюса

Мы входим в «Кафе промышленности и цветов».

Великолепная дорожка покрывает середину паркета Вдоль стен, колонн, поддерживающих потолок, и вдоль прилавка нарисованы фиолетовые присы, громадные красные маки и розы величиной в цветную капусту.

— Слов нет, во Франции люди имеют вкус, — говорит Тирет.

— Сколько надо было терпения, чтобы сделать все это,— говорит Блэр при виде пестрых разводов.

— Здесь, — прибавляет Вольпатт, — не только выпить, а и посидеть приятно.

Парадиз сообщает нам, что он был завсегдатаем в кафе. В былое время он по воскресеньям всегда захаживал в кафе, столь же красивое, а, быть может, даже и покрасивее этого. Но это было уже давно, и он окончательно отвык от них. Затем он указывает на маленький эмалированный рукомойник, расписанный цветами и висящий на стене.

— Здесь можно и руки вымыть!

Мы из благовоспитанности направляемся к рукомойнику. Вольпатт делает знак Парадизу открыть кран.

— А ну-ка, пусти в ход плевательную машину.

После этого мы впятером направляемся в зал, уже наполненный гостями, и садимся за столик.

— Заказать, что ли, пять рюмок вермута?

— Да, пожалуй, не трудно было бы опять втянуться во все это...

Вокруг нас собираются штатские. Кто-то говорит вполголоса:

— У них у всех боевые отличия. . Видишь, Адольф?

— Это настоящие фронтовики?

Товарищи слышат эти замечания. Они перестали беседовать, насторожились и бессознательно нахохлились.

Через минуту мужчина и женщина, обменявшиеся этими фразами, наклонились к нам, опершись локтями о белый мрамор столика, и начинают нас расспрашивать.

— Что, тяжело жить в окопах? Неправда ли?

— Гм... Да... Невесело...

— Какая у вас изумительная физическая и моральная стойкость. Ведь вы привыкаете к такой жизни?

— Да, да... Даже очень привыкаем.

— А все-таки это тяжелое существование, ужасные страдания, — лепечет дамочка, перелистывая иллюстрированный журнал с несколькими снимками, изображающими страшные виды опустошенных местностей. — Таких вещей не следовало бы печатать... Грязь, вши, каторжный труд... При всей вашей храбрости вы, вероятно, чувствуете себя несчастными...

Вольпат, к которому она обращается, краснеет. Он стыдится тех ужасов и бедствий, от которых только что ушел и к которым скоро вернется. Он опускает голову и лжет, быть может не отдавая себе отчета в размерах своей лжи:

— Нет, мы не так уж несчастны... Все это не столь ужасно, как кажется!

Дама соглашается с ним:

— Я отлично знаю, — говорит она, — что есть на войне также много хорошего. Вот, например, атака. Ведь это, вероятно, нечто великолепное. Не правда ли? Все эти массы людей, идущих как на праздник... Торжественные звуки рожка: «Там, наверху, мы выпьем», и солдатики, которых нет возможности удержать. Они рвутся вперед, кричат: «Да здравствует Франция!» и умирают с улыбкой на устах... Мы не удостоились такой чести, как вы. Мой муж служит в префектуре, и в настоящее время он в отпуску, чтобы полечить свой ревматизм.

— Я тоже хотел бы стать солдатом, — говорит ее

супруг, — но мне не повезло: мой начальник не может обойтись без меня.

Люди проходят, толкаются. Гарсоны скользят с рюмками искрящихся, сверкающих напитков — зеленого, красного и светложелтого цвета. Скрип шагов по паркету, усыпанному песком, смешивается с голосами завсегдатаев и звяканием стаканов по мрамору столов... В глубине слышен стук шаров из слоновой кости, сталкивающихся на зеленых биллиардах; вокруг биллиарда собралась кучка зрителей, обменивающихся обычными прибаутками.

— У каждого свое дело, милейший, — говорит прямо в лицо Тиретту с противоположного конца стола человек с удивительно здоровым цветом лица. — Вы — герои, а мы содействуем экономическому расцвету страны. Это такая же борьба, как ваша. Я приношу, не скажу больше, но во всяком случае не меньше пользы, чем вы!

Я гляжу на Тиретта, нашего присяжного острослова: он выпучил глаза среди клубов сигарного дыма и скромно отвечает:

— Да, это правда... Каждому свое...

Мы незаметно уходим.

Когда мы покидаем «Кафе промышленности и цветов», беседа у нас не вяжется. Нам кажется, что мы разучились говорить. Какое-то недовольство сводит и обезображивает лица моих товарищей. Они как бы чувствуют, что в столь чрезвычайном случае оказались не на высоте своего долга.

— Ну, и наговорили же они нам ерунды, эти черти, — ворчит, наконец, злопамятный Тиретт, недовольство которого все усиливается, чем дальше мы отходим от кафе.

— Напрасно мы не напились сегодня, — грубо отвечает Парадиз.

Мы идем, не говоря ни слова. Затем, через некоторое время, Тиретт снова заговаривает:

— Вот мерзкие люди! Хотели пустить нам пыль в глаза, да мы не из таковских! В следующий раз, когда я их встречу, — говорит он, возмущаясь все сильнее, — я буду знать, что им сказать!

— Но мы их больше не увидим, — говорит Блэр.

— Через неделю мы, быть может, уже околеем, — говорит Вольпатт.

На краю площади мы наталкиваемся на людей, выходящих из здания городской думы и еще другого здания с фронтоном и колоннами, напоминающими храм. Это служащие, у которых кончились занятия: тут штатские всех видов и возрастов, молодые и старые военные; издали кажется, что они одеты, как мы... Но вблизи резко выступают отличительные признаки этих отлынивающих дезертиров, которым не скрыться под солдатскими костюмами и нашивками.

Их поджидают жены и дети. Торговцы закрывают свои лавки, довольные окончившимся днем и предвкушая грядущий, подсчитывая свои возросшие прибыли и с вожделением поглядывая на заполняющуюся кассу. Они остались в лоне своей семьи. Им стоит нагнуться, чтобы иметь возможность поцеловать своих детей. Как только зажигаются на улицах фонари, все эти богатые люди, которые продолжают богатеть, все эти спокойные люди, которые с каждым днем успокаиваются все больше и все молят бога о больших богатствах и еще большем благополучии, высыпают на улицу. Затем они, не торопясь, возвращаются домой, где все благоустроено и уютно, или идут в кафе, где им подают все готовое. Парочки, молодые женщины и мужчины, штатские или солдаты со значками на воротниках, кричащими об их дезертирстве, спешат при свете фонарей в свое уютное гнездышко, где их ждет ночь отдыха и ласки.

Проходя мимо окна нижнего этажа, мы видим, как вздувает ветер кружевной занавес и делает его похожим на легкую нежную сорочку...

Движение толпы отталкивает нас в сторону, точно бедных чужаков.

Мы бродим по сумеречным улицам, начинающим позлащаться иллюминацией, точно алмазами. Вид этого мира, помимо нашей воли, раскрыл нам великую правду жизни. Мы увидели рознь, существующую между человеческими

существами, более глубокую и более непроходимую, чем рознь между нациями и расами, ясно выраженную рознь между людьми одного и того же народа, между теми, которые страдают и трудятся, и теми, которые этим пользуются, между теми, от которых потребовали, чтобы они пожертвовали всем, отдали свою силу, всего себя, и теми, которые с улыбкой благоденствуют на их трупах.

Несколько траурных платьев выделяются темными пятнами среди толпы, и они близки нам, но остальные празднуют непреходящий праздник и не знают печали.

— А ведь правда! Выходит, что у нас не одна страна, а две, — с поразительной точностью резюмирует Вольпатт наши размышления. — Мы разделены на две чуждых страны: на фронт, где слишком много несчастных, и на тыл, где слишком много счастливых.

— Что делать?.. Они нужны... Это основа... Фундамент...

— Я знаю; но все-таки их слишком много, и слишком им хорошо. И всегда это одни и те же...

— Что поделаешь? — говорит Тиретт.

— А, все равно! — прибавляет Блэр еще проще.

— Через неделю нас, быть может, раскромсают, — говорит в заключение Вольпатт.

И мы уходим, опустив головы.

ПРОЛЕТАРИИ!

Кто проповедует «войну до конца», «до победы»?.. Это виновники войны: продажная пресса, военные поставщики и все те, кто наживается с войны; это социал-патриоты, повторяющие буржуазные военные лозунги; это реакционеры, которые в глубине души радуются, что на полях битвы погибают те, кто вчера еще был угрозой привилегиям господствующих классов: социалисты, члены профессиональных союзов, все те, кто сеял семена социализма в городе и деревне.

Вот сторонники политики войны до конца.

Они располагают государственной властью, они командуют лживой прессой,

отравляющей народ, они пользуются свободой агитации за продолжение войны, за продолжение кровавых жертв и опустошений.

Жертвами являетесь вы; вы имеете право голодать и молчать, для вас цепи военного положения, цензурный намордник, мертвый воздух тюрьмы.

Из обращения второй социалистической Циммервальдской конференции от 1 мая 1916 г.

Собр. сочин. В. Ленина. — Приложения, т. 19, стр. 430.

СТОРГОВАЛИСЬ

Отрывок из романа-драмы «Томас Вендт» Лиона Фейхтвангера

Комната в второразрядной гостинице. Неуютно, холодно. Господин Шульц. Господин в черном пальто.

Господин в черном пальто: Правительству крайне желательно, чтобы газеты, находящиеся в вашем распоряжении, по возможности раздули этот инцидент!

Господин Шульц: Понял, ваше превосходительство! Оскорбление национального достоинства... Кровный враг... Слава тебе, император-победитель! Бронированный кулак... Могу ручаться, что обыватель прореагирует в нужном смысле!

Господин в черном пальто: Мы вполне полагаемся на вашу испытанную энергию и уменье ориентироваться! (*Как бы вскользь*): Вам, кстати, не мешало бы, господин Шульц, перестроить ваши предприятия... в расчете на предстоящие события...

Господин Шульц: Вы полагаете, что вопрос может быть разрешен при помощи вооруженной силы?

Господин в черном пальто: Правительство, господин Шульц, пока еще ничего не думает. Однако, мое личное мнение...

Голос из соседней комнаты: Горе вам, сопротивляющиеся и загрязненные! Горе, тебе, город греха!..

Их князья — львы рыкающие, судьи — волки голодные! Ни единой косточки не оставят они нетронутой!..

Господин в черном пальто: Что это такое?

Господин Шульц: Не знаю. Должно быть какой-нибудь приезжий в соседней комнате. В такой маленькой гостинице трудно избежать подобного соседства. Я избрал это место для нашей встречи, так как не хотел, чтобы она подверглась ложному толкованию. Итак, ваше превосходительство того мнения, что бронированный кулак..?

Господин в черном пальто: Кто умен — должен уметь предугадывать события. Я, на вашем месте, дорогой мой, свои расчеты строил бы на том, что ожидаемое событие произойдет еще в нынешнем году. Разумеется, как я уже и говорил, это только мое личное мнение... Правительство в таком случае оказалось бы вынужденным закупать материалы там, где они оказались бы под рукой, и платить любую цену...

Господин Шульц *(насторожившись)*: Вы полагаете?..

Господин в черном пальто *(занятый складыванием в портфель своих бумаг)*: Я, например, если б знал, что вы действительно примете меры к тому, чтобы оказаться в нужный момент вполне подготовленным, не задумываясь приобрел бы от четырех до пяти сот ваших акций...

Господин Шульц *(сияя)*: Я буду счастлив, ваше превосходительство, если ваше превосходительство разрешит, передать вашему превосходительству эти акции непосредственно из рук в руки... дабы вашему превосходительству не пришлось бы переплатить за них на бирже лишнее...

Господин в черном пальто: Буду вам весьма признателен, господин Шульц!

Голос в соседней комнате: Их пророки легкомысленны и недостойны доверия. Их священнослужители оскорбляют святыни и нарушают закон! Я искоренил целые народы, говорит Господь, разрушены их крепости, опустошены города, опустели дороги, на которых не видно путников..

Господин в черном пальто: Чорт знает что такое!

Господин Шульц *(лакею, явившемуся на его звонок)*: Скажите, чтоб вас чорт побрал! Вы, что же это — в соседней комнате поселили всех двенадцать апостолов?.. Неужели вы не можете заткнуть глотку этому воющему Иеремии?

Лакей: К сожалению трудно что-нибудь сделать. Постоялец в соседней комнате — проповедник библейского общества. Хозяин уже объявил ему, чтобы он завтра же съезжал.

Господин Шульц: Очень жаль, что не сегодня! Ладно! Убирайся!

Голос рядом *(звучит еле слышно)*.

Господин Шульц: Ну, а как вы представляете себе, ваше превосходительство, разрешение вопроса о ценах за майские и июньские поставки?

Господин в черном пальто: Я очень боюсь, что министерство не пожелает согласиться с вашими предложениями...

Господин Шульц: Но помилуйте, ваше превосходительство! Вспомните о забастовке на заводах Гейнзиуса! Такие штуки действуют, как зараза. Впечатление, произведенное этой забастовкой на рабочих моих заводов, самое пагубное. Мне приходится с каждым днем увеличивать суммы, которые я выплачиваю своим ребятам с тем, чтобы они влияли на остальных. Если и мои предприятия окажутся охваченными забастовкой, — где же тогда правительство возьмет необходимые ему материалы?

Господин в черном пальто: Да, да. Придется поставить и этот вопрос на вид господам из министерства...

Господин Шульц *(хохочет и фамильярно хлопает своего собеседника по плечу)*: Чорт возьми! Одно удовольствие иметь дело с вами, ваше превосходительство! Из всех крупных чиновников, с которыми мне приходилось иметь дело, вы безусловно самый большой умница...

Голос в соседней комнате: Бойтесь, ибо придет час расплаты!..

Господин Шульц: А ну его к чорту, этого библейского болвана! Спустимся лучше, ваше превосходительство, в ресторан...

(Они выходят.)

ИЗ РЕЧИ КАРЛА ЛИБКНЕХТА

2 декабря 1914 года

Эта война разгорелась не во имя защиты от нападения. Это не война за свободу германского народа. Это не война за высшую степень «культуры», — величайшие государства Европы, стоящие на одинаковой ступени «культуры», борются друг с другом и борются именно потому, что они государства одинаковой, т. е. капиталистической культуры. Под обманчивым лозунгом расовой и национальной войны ведется война, при которой мы в обоих лагерях видим самую пеструю смесь различных рас и национальностей. Лозунг «против царизма» служит только для того, чтобы самые благородные инстинкты германского народа, его революционные устремления, использовать для целей войны и человеконенавистничества. Германия до сегодняшнего дня являлась соучастницей и верным сотрудником царизма. Германия, правительство которой всегда было готово своей военной мощью поддержать кровавых царей в борьбе с «великой русской революцией», Германия, в которой народные массы подвергаются жесточайшей экономической эксплоатации и лишены политических прав, Германия, где национальные меньшинства стеснены исключительными законами,— не может себя считать призванной сыграть роль освободительницы народов. Освобождение русского народа должно быть делом его собственных рук, точно так же, как освобождение германского народа не может явиться результатом попыток осчастливить его со стороны других государств, а должно быть его собственным делом.

(Цитировано по книге Иоганнеса Бехера «Война»)

«...СМЕРТЬЮ ГЕРОЯ...»

Из романа «Год рождения 1902 г.». Эрнста Глэзера

Я рассказал Августу о том, что пережил в доме Пфейффера.

— Н-да,— произнес он, делая серьезное лицо.— Дня три тому назад мой отец тоже писал о чем-то подобном. В его роту ударился тяжелый снаряд — 8 убитых. Кроме того, воодушевление тоже далеко уже не такое, как было раньше. Офицеры, по его словам, гораздо чаще получают отпуск, и для них строят гораздо более надежные прикрытия.

Август в тот период находился и по другим причинам в скверном настроении. Отца его все еще не произвели в фельдфебели. Он постепенно снова начинал каким-то особым взглядом поглядывать на Гаугвитца и других мальчиков, отцы которых были офицерами и получали более частые отпуска. Он держался от них в стороне и дружил с Пфейффером, служившим в качестве рассыльного в окружном управлении. Пфейффера в школе освободили от послеобеденных занятий; сестра красного креста стряпала для него и его младших сестер и братьев. Существовали они на то, что зарабатывал Пфейффер, кое-какие небольшие сбережения и пособие, выплачиваемое красным крестом; потребности их были очень невелики.

Война продолжалась... Она для всех нас стала обыденной и привычной. В письмах наших отцов мы улавливали первые признаки тоски по дому. Они уже не говорили о героизме, а твердили лишь о том, что выполняют свой долг. Свой долг до конца... Под этими словами они подразумевали смерть. Смерть на поле битвы они называли «прекраснейшей из жертв». Германский солдат умирает-де за идею. Такая смерть угодна-мол господу. В нашем городе появилось вдруг много женщин, плакавших во время богослужения. Выходя из церкви, они крепко прижимали к себе своих детей. Часто их можно было увидеть бегущими по улице: это означало, что они издали увидали почтальона.

Они уже не кричали «ура», когда получалось известие об одержанной победе. Они мирились с победой лишь тогда, когда их мужья писали им, что уцелели или вовсе не принимали участия в этой битве.

Эти женщины, число которых с каждым днем возрастало, постепенно меняли лицо войны,— они делали его серьезным.

В конце 1915 года женщины были тайными властительницами нашего города. Хоть они и произносили слова молитвы: «Господи, даруй победу нашему оружию», но подразумевали при этом мир. Встречаясь в ферейнах, на благотворительных вечерах и базарах, в библейских кружках, они сразу с первого взгляда понимали друг друга, и хоть слова, которыми они обменивались, относились только к повседневным жизненным мелочам, но во всех звучали одни и те же ноты. Смерть, постепенно вступавшая во владение нашим городом, вкладывала в их речи свой тайный смысл.

В то время священники были вестниками смерти, и когда который-нибудь из них, торжественно шагая, показывался из-за угла, сердце улицы на мгновение замирало и буйно и с облегчением начинало снова биться лишь тогда, когда фигура священнослужителя исчезала в воротах соседа. Я часто наблюдал такие сцены. Мы с товарищем прятались за дверью того дома, куда входил священник, и затаив дыхание так, что засыхали губы, прислушивались к тому, всегда неизменно одинаковому, что происходило внутри: глухой вопль, стук, словно падал на пол стол или валилась со стены картина, затем жалобный плач и одновременно с этим монотонная речь пастора, звучавшая так, словно из бочки медленно текло масло.

В последнее время, однако, нам приходилось вместо крика слышать взрывы странного смеха, иногда проклятие, и видеть священника, поспешно с закушенной губой покидавшего дом.

Случилось даже однажды (произошло это на рабочей окраине), что одна мать вскоре после посещения священника, сообщившего ей о смерти ее сына, облила керосином и подожгла пол в своей комнате. Не прошло и не-

скольких минут, как весь жалкий домик оказался охваченным огнем. Ослепительно белое пламя на фоне ясного октябрьского дня чем-то напоминало ком, пропитанный карболовым раствором ваты, над прорвавшимся гнойным нарывом. Женщину, против ее воли и преодолевая сильнейшее сопротивление с ее стороны, вытащила из огня жалкая горсточка шестидесятилетних мужчин. Она кусалась и билась у них в руках. Находясь уже внизу во дворе и все еще продолжая буйствовать, она ударила в живот стражника, на руках вынесшего ее из охваченного огнем дома. Через месяц после своего насильственного спасения она по обвинению в «сопротивлении власти» предстала перед судом присяжных заседателей. Суд, состоявший из судьи и двух заседателей, которым всем троим вместе было около двухсот лет, приговорил ее к пяти месяцам тюремного заключения. В тюрьме ей, наконец, удалось повеситься. Горожане говорили, что она сумасшедшая: ведь она теперь, когда ее сын был убит, получала бы приличную пенсию.

Это было в 1916 году. Германская армия сражалась за обладание Верденом. Списки потерь до ужаса выростали за одну ночь, кривые убитых и раненых скачками росли вверх и, казалось, готовы были опрокинуться, печать не успевала фиксировать их на бумаге, — так чудовищно выростала гигантская груда смертей. О том, что бои эти чрезвычайно кровопролитны и при этом дают самые незначительные результаты, мы знали из доходивших нелегальным путем писем с фронта; тем не менее нам казалось, что наш городок пострадал особенно тяжело: число павших в этих боях выходцев из нашего города, по сообщениям за одну неделю, достигло 22.

Каждый день, когда я возвращался из школы, мать встречала меня во дворе и торопливо, испуганным голосом сообщала: «Убиты такой-то и такой-то...» — «Где?» — спрашивал я. Ответ звучал всегда одинаково: «Под Верденом». В те дни для нас слова «под Верденом» были как бы припевом смерти.

Мать моя в эти дни вела себя очень странно. Каждый

раз, сообщив мне о смерти кого-нибудь из знакомых, она торопливо втаскивала меня в дом, словно под открытым небом мне грозила неминуемая опасность, почти силой усаживала за стол, на котором уже стояла приготовленная еда, и осыпала меня нежностями, вызывавшими с моей стороны смущение. Она выбирала для меня лучшие куски, готова была запихать мне их в рот и не могла нарадоваться, когда я с аппетитом съдал все приготовленное ею. Затем она усаживалась за рояль и своим нежным голосом пела народные песенки, которые, как она знала, я особенно любил. Я слушал, насвистывая ей в такт, и пек при этом в печке для себя яблоки. На несколько часов я забывал о войне и переставал ощущать ее лицо. То, что война давала, и еще больше то, что она отнимала, оставалось там, позади, на дворе. Об этом все было сказано, это было выстрадано, с этим было покончено. Дверь за нами была заперта, и замок у дверей был крепкий. Мы вздыхали с облегчением и глядели друг на друга, словно мы были единственными людьми на земле. Мы не разговаривали друг с другом...

Однажды, в то время как мать как раз повторяла сентиментальный припев какой-то народной песни, я вдруг перестал насвистывать: передо мной на столе лежал последний лист нашей местной газеты. Вся страница была разделена на небольшие прямоугольники. В каждом прямоугольнике был изображен железный крест, и рядом с каждым железным крестом было напечатано чье-нибудь имя. На лежащей передо мной газетной странице значилось пятнадцать имен. Пятнадцать имен, названных в по-следний раз; газетное кладбище, состоящее из пятнадцати имен...

Одна темная страница, плоскость, расчерченная смертью на правильные геометрические фигуры... Чтобы выгадать место, в этот день не поместили даже церковных известий.

Сжав голову руками, сидел я перед этим газетным листом. Все, что я до сих пор думал о войне, теряло смысл и значение перед этим кладбищем фактов. Взрослые умирали смертью, внезапность которой была мне так же непонятна, как прежде была непонятна их жизнь. Мне ка-

залось, что вдруг раскрылись все двери и улетела крыша над головой. Моя мать обернулась, вырвала у меня из рук газету, обняла меня за шею и, пододвигая мне левой рукой корзину с фруктами, почти с отчаянием закричала:

— Ешь! Ешь!..

Я стал есть, чтобы доставить ей удовольствие, и, видя, что ей это приятно, старался есть как можно больше. Она уселась за рояль и, ударяя изо всех сил по клавишам, заиграла какой-то бравурный венский вальс...

В течение всего дня мать почти не спускала меня с глаз, не давала мне выйти из дома и вообще была как-то чрезмерно занята мной. Она приказала Катеньке запереть ворота и ставни, словно опасаясь, что я вот-вот встану и уйду на улицу или даже в лес.

Хотя я знал, что батальон, в котором служил отец, несмотря на возраст причисленных к нему ландштурмистов, уже в течение нескольких дней находится под огнем, я все же не понимал поведения матери.

Я перестал понимать войну. Почему мужчины, уходя, так смеялись и почему так плачут женщины, вспоминая о своих мужьях? Слова Пфейффера о том, что на войне убитых больше, чем героев, еще звучали в моих ушах. Я покосился на газетный лист, валявшийся смятым на полу. Мать силой повернула мою голову в другую сторону и впервые позволила мне закурить папиросу.

В течение всего этого дня я не выходил на улицу. Да у меня и не было желания выйти, так как в эти последние недели и дни улицы по большей части были пустынны. Люди выходили из своих домов только тогда, когда их вынуждала к этому необходимость. В остальное время они замыкались в своих жилищах, словно в кельях. Казалось, они боятся открытого воздуха, в котором, словно угроза чумы, царила смерть.

В довершение всего до нашего города в ясную погоду стал доноситься из-под Вердена грохот орудий. Я даже прекрасно знал место, где этот грохот был лучше слышен, а именно — около железнодорожной сторожки на самой окраине города.

Там мы часто стояли с товарищами и, напрягая слух, улавливали звуки разрывов. Они звучали так, словно по деревянному мосту проезжает доверху нагруженная только что сжатым хлебом телега.

Железнодорожный сторож, семидесятилетний старик, потерявший на войне уже двух сыновей, не раз повторял, прислушиваясь к выстрелам: «Слышите? Это все головы, головы катятся»... И он смеялся так, словно кто-то железом прокалывал жестяной лист. «Всем, всем один конец... и вот этим тоже», добавлял он, указывая рукой на груженый бледными новобранцами воинский поезд с потушенными огнями, продвигавшийся на запад. Нам становилось жутко, и мы убегали домой. Нависавшее над городом небо походило на свод, сооруженный из обнаженных костей. Луна освещала его. Мы ничего не могли делать.

— Ах,— сказал я однажды Августу, возвращаясь с ним домой, — они нас обманули со своей войной...

Он засмеялся и покачал головой:

— Должно быть правда то, что вчера писал мой отец: «Все мы тогда были пьяны»...

... И вот мы поняли: война была делом рук определенной группы людей. Нам стали понятны законы, приводящие в движение нашу жизнь. Мы научились ясно отличать в каждой стране две нации. На самой войне ясно обозначались д в а фронта, тянущиеся сквозь все фронтовые линии: фронт серых масс, миллионов солдат и небольшой численно, но могущественный фронт тех, кто руководил войной.

Иоганнес Бехер.

В ТЫЛУ

Сцена из романа-драмы «Томас Вендт» Лиона Фейхтвангера

Зал первоклассного ресторана.

Господин Шульц, Аннемари, тайный советник, член австрийской миссии, нарядно одетые мужчины и женщины.

С эстрады доносятся стук каблуков и звуки модного танца.

Член австрийской миссии *(хлопает в ладоши)*: А — очень, а — очень мило! А — очень мило!..

Аннемари: Какие у нее лодыжки! Ну, поглядите только: какие у нее лодыжки! Как может она выступать, имея такие безобразные ноги! А эти впадины над ключицами!..

Господин Шульц: Н-да, Аннемари! Мы не так сложены, не правда ли?.. *(поглаживает ее руку)*.

Аннемари *(слегка отодвинувшись)*: Ну, на что это похоже! Ведь это же не танец! Шевелятся, словно сонные мухи! Крови у них нет в жилах, что ли?! *(обращаясь к официанту)*: Позовите капельмейстера!

Тайный советник: Каковы ваши намерения, очаровательнейшая женщина?

Аннемари: Темп, темп! Побольше движения!..

Господин Шульц: Подумать только, господа, второй год мировой войны, икра, шампанское, общество прелестных женщин, музыка, танцы, а там, на полях сражений, молодые герои, грудью защищающие отчизну!.. Изумительно, просто изумительно, если только подумать... Я начинаю в самом деле верить в провидение... Слова о нашем великом союзнике там, в небесах, пожалуй, следует принимать всерьез... Выпьем за нашего великого союзника!.. *(Пьют)*. Человек! Заморозить еще дюжину шампанского!..

Аннемари *(обращаясь к подошедшему к ней капельмейстеру)*: Сыграйте то же самое еще раз! Но только в три раза быстрее! Я буду танцовать!

Тайный советник: Э... э... О - чаровательная, о-чаровательная мысль, сударыня!

Аннемари. Пойдемте со мной! *(удаляется, опираясь на его руку)*.

Господин Шульц: Приветствую, всегда приветствую вакхические порывы! Особенно радуюсь сейчас... Ибо эта прелестная женщина не чужда иногда мечтательных настроений... Порывы раскаяния... Гетевская Маргарита и прочая чепуха... Руководство для молодых хозяек...

Добродетель... Хе, хе... Предпочитаю обычно иной тип... Саломея... Лилит... Ваше мнение, граф?

Член австрийской миссии: Э... э... Мой милый господин Шульц, по-моему, да э... э... самое главное это... это... чтоб девица была полненькая э... э... но, знаете, не рыхлая, не рыхлая, а плотненькая, э... э... Пупсик!

Господин Шульц *(шумливо)*: Правильно, совершенно правильно!

Тайный советник: Ваша молодая подруга очаровательно, очаровательно танцует!

Господин Шульц: Сначала девчонка никуда не годилась. Вела дружбу с Томасом Вендтом, знаете, с этим самым, с революционером. Каждую минуту припадки... настроения... но теперь я ее великолепно выездил... Вы не находите?

Тайный советник: *(не спуская глаз с Аннемари)*: Да! Породистая девчонка! Чорт возьми! Как танцует?..

Господин Шульц: Она вам нравится? Желаете поужинать с нею? Или может быть вам приятнее будет выпить у нее дома чашку чая? С величайшим удовольствием устрою вам это. Я обставил ей прелестную квартирку. Аугсбургская улица. Бывший владелец был моим должником. Офицер! Убит на фронте! Все пошло с молотка!

Тайный советник Очаровательная, очаровательная женщина ваша приятельница, честное слово! Прелесть! Оазис в пустыне нашей современной жизни!..

Господин Шульц: Я нуждаюсь в радостных впечатлениях в часы отдыха. Прошу хорошенько себе представить: мы, т. е. организации, работающие в тылу, постоянно на чеку, наши нервы вечно напряжены. Заботы, понимаете, заботы. Например, — хотя бы забота о правильном распределении материалов: сахара, селитры, железа, глицерина и т. п. Что делать: поставлять домашним хозяйкам сковородки или Гинденбургу пушки? Сахар для варенья, селитру для засолки, глицерин для изящных ручек, или для Людендорфа снаряды?.. Задачи! Дилеммы!.. Бесконечные трудности!.. Да, кстати, господин тайный советник, не откажите мне в небольшой любезности: в ва-

шем ведомстве имеется один господин. Он хочет во что бы то ни стало освободить и передать для распределения среди населения несколько тонн сахара, который я счел необходимым реквизировать. Безобразие. Суется не в свое дело, понимаете? Народ и так жрет слишком много сладкого. Необходимо в первую очередь снабжать наших серых героев и так далее... Да-с, так... значит, когда Аннемари будет иметь честь принять вас у себя?

Тайный советник: Вы в самом деле устроите мне это? Чудесно, чудесно!.. Да, а относительно этой истории с сахаром вы не беспокойтесь. Мы сумеем урезонить этого непрошенного друга народа. Подумать только: какая чрезмерная заботливость о снабжении черни лакомствами!..

Аннемари *(возвращается и жадно выпивает бокал шампанского)*: Я вся горю!

Тайный советник: Восхитительно! Волшебница! Воплощенная музыка!

Член австрийской миссии *(хлопает в ладоши)*: А-а-чаровательно! А-а-чаровательно!

Господин Шульц: Хвалю, хвалю! Темперамент! Движение! Огонь в крови!

Шансонетная певица *(в костюме сестры милосердия поет бесстыдные куплеты)*.

Раненый *(входит. Он очень молод. Лицо покрыто бледностью. В смущении оглядывается и нерешительно направляется к ближайшему столику)*.

Официант *(грубо и небрежно обращается к нему)*: Что прикажете подать?

Раненый. Бокал пива, пожалуйста!

Официант. Пива мы не держим! Здесь ресторан для порядочных посетителей. У нас только шампанское от сорока двух марок за бутылку.

Шансонетная певица *(повторяет припев)*:

Да, красный крест
Да, да!
Нет больше мест,
Да, да!..
Ура, ура, ура!..

Член австрийской миссии: Мило! А — очень, а — очень мило!

(Шансонетная певица продолжает петь).

Раненый *(медленно с трудом поднимается с места)*: Тогда мне лучше уйти...

Аннемари *(все время с напряженным вниманием следившая за раненым)*: Поглядите!.. Поглядите!..

Господин Шульц: В чем дело?.. Ах, это... Ни малейшего такта у этих господ! Потеряли всякое представление о приличии за время войны. Всюду лезут на глаза, портят настроение порядочным людям. Зачем, спрашивается, жертвуешь деньги на госпитали и лазареты?

Аннемари. Нельзя так отпустить его!..

Тайный советник *(горячо)*: Ну, конечно, конечно, мы сейчас же вернем его, сударыня! Сочувствие к героям — лучшая добродетель немецких женщин!..

Господин Шульц: Рецидив чувствительности?.. *(обращаясь к тайному советнику)*: Подчиняюсь вашему желанию. Эй, вы там, служивый! Товарищ! Герой! Будьте любезны подойти поближе!

Раненый *(оглянувшись на мгновение, продолжает продвигаться к дверям)*.

Аннемари *(вскакивает и настигает его уже у самых дверей. Говорит тихо и очень настойчиво)*: Мы не хотим обидеть вас!.. Мы только просим вас!..

Раненый: Если таково ваше желание... *(следует за ней)*.

Господин Шульц: Ну-с, выпейте-ка прежде всего глоточек. Вам здесь все кажется странным, не правда ли? Весь этот шум и свинство там, на фронте, а здесь — солидные бюргеры, спокойно попивающие винцо. Кругом — красивые женщины! Веселая песенка! Делу время, и потехе час... Прекрасное настроение!.. Так-с, а теперь рассказывайте...

Раненый: Нет! Это здесь не подойдет... Да и слишком свято мне то, что я пережил, чтобы я стал рассказывать об этом здесь, да еще под аккомпанемент вот этого пения...

(Общее смущение).

Господин Шульц *(шутливо)*: О-о! Вот это здорово! Ловко, ловко загнул! Люблю гордых испанцев! Ну, нет, так нет. Ведь у нас, слава Богу, имеются корреспонденты с фронта.

(Молчание. Слышно лишь доносящееся с эстрады пение).

Да, красный крест,
Да, Да!
Нет больше мест,
Да, да!
Да, красный крест,
Нет больше мест!
Ура, ура, ура!

Раненый: Мне, пожалуй, лучше уйти... Здесь я только мешаю.

Тайный советник: Да что вы, что вы! Герои — для нас всегда желанные гости!

Господин Шульц: Даже и тогда, когда у них не вполне светские манеры.

Аннемари: Я не хотела вас обидеть. Пожалуйста, пожалуйста, поверьте мне!.. Я только хотела... *(протягивает ему руку).*

Раненый: Я верю вам! Благодарю вас!.. *(уходит).*

Г. Шульц: Дурак!

Тайный советник: Очаровательно! Очаровательно!.. Чисто немецкая женственность и доброта!

Певица на эстраде:

Да, красный крест,
Да, Да!
Нет больше мест!
Да, да...

Член австрийской миссии *(аплодирует)*: Мило. Замечательно мило!..

ХИЩНИКИ

Из сборника Матэ-Залка — «Военная почта»

Ганс Корн не родился капиталистом, но, сделавшись им, быстро превратился в яркого, чистокровного представителя этой породы. День объявления войны Ганс Корн провел в одном весьма серьезном обществе и после разговоров, услышанных там, решил жениться на горбатой дочери рыжего Гольдблюма. Оставив банк, в котором служил, он начал самостоятельное дело.

С пламенной фантазией коммерсанта и нюхом дельца набросился он на самые боевые отрасли рынка и в короткое время стал одним из известнейших поставщиков армии. С пылкостью напавшего на жилу золотоискателя, с жадностью трусливого скряги захватывал он огромные суммы денег. Скоро он сменил свою развалистую утиную походку на быстрый бег комфортабельного автомобиля, а жиреющее тело скрыл под мягкими линиями английской элегантности.

Иногда, после долгой погони за наживой, Ганс Корн ощущал какое-то необъяснимое отвращение ко всему окружающему, его тяготила внутренняя пустота. Он спрашивал себя:

— Для кого и для чего все это?

Но такие сентименты только на несколько секунд ослабляли его энергию, а в следующую минуту опять трещали телефоны, с грохотом мчались автомобили, и он видел только цифры, сводки, донесения и опять цифры. С новым приливом сил бросался он в дело, оставляя на своем пути новые миллионы раздавленных людских интересов и надежд.

На второй год войны не было человека, который не знал бы Корна. Его имя, точно молот, ударяло по человеческим сердцам. Он держал всех в своих руках, и были моменты, когда многие государственные дела зависели исключительно от него. Он смотрел на все окружающее с высоты завоеванного им положения и ничего не знал и не хотел знать о тех ужасах и бедствиях, совокупность

которых называется: фронт. Фронт был для него «делом». Его делом. Фронт для него — запутанный сложный механизм, ход которого он великолепно знает. Мутное озеро, в котором он умелый и почти единственный рыбак. Старые опытные коммерсанты и финансовые дельцы с ужасом и отвращением смотрели на его цинично-смелые приемы, опрокинувшие их солидные традиции.

Он дошел до того, что перед осенним наступлением предложил главнокомандующему армией задаток за убитых во время наступления лошадей и даже принял на себя обязательство вывозить падаль. Секретные источники говорят, что знаменитое кавалерийское столкновение под X тоже его дело. В его книгах по крайней мере (по данным следствия) заприходовано после этого боя 15655 убитых лошадей. Эти же источники сообщают, что главнокомандующий корпусом по настойчивому требованию Корна приостановил паническое, после потерянного боя, отступление и бросил в атаку гвардейскую кавалерию, которая хотя и потеряла почти весь конский и людской состав, все-таки отбросила неприятеля на 30 километров назад. Те же источники утверждают, что после этого боя командир корпуса получил орден Железного Креста первой степени только благодаря усиленным хлопотам Ганса Корна.

В это время корновские предприятия монопольно снабжали армию всякими жировыми веществами, консервами и мылом. Сырьем для этого служили Гансу Корну убитые лошади. (Между прочим, неприятельская пресса печатала даже такие до смешного неправдоподобные сообщения, будто люди Корна подбирали по ошибке не только убитых лошадей, но и трупы павших солдат, в особенности неприятельских, и использовали их. Но это — неправда. Неприятельская пресса выпускала эти сообщения просто с агитационной целью, в своих узких национальных интересах, и на это Ганс Корн не обращал ни малейшего внимания.)

Он говорил: выжимаю жиры всего мира. Это так и было. Он выжимал жиры всего мира. Это могут засвидетельствовать рабочие корновских фабрик и заводов,

большой процент которых состоял из вдов и сирот войны. Говорят, что однажды одна из работниц якобы опознала в числе трупов, варившихся в горячем котле, своего отца, — но это, вероятно, тоже утка неприятельского корреспондента.

К четвертому году войны Ганс Корн стоял в центре бесчисленных предприятий, фабрик и заводов, главным двигателем которых был он. Ганс Корн стал бесстрашным дельцом-капиталистом, руки его поминутно ворочали миллионами, у него всякий план и мысль моментально превращались в факт, который разрушал и строил, поднимал и сшибал. Словом—в процессе жизни Ганс Корн стал чистокровным капиталистом.

Ворон, собственно говоря, не был вороном. Он представлял собою помесь галки и вороны, но был крепкой и проворной птицей. Вороном, хищником он стал в процессе своей жизни. Он хорошо понимал, что жить надо только около городов, где обычно много сору, отбросов и падали. В начале войны он жил в месте свалки за городом.

Когда война началась и над городом загрохотала канонада, ворон со своими товарищами переселился в лес, но и оттуда они вынуждены были убраться. Их прогнали острые ружейные выстрелы.

Малоопытный молодняк решил, что это грандиозная охота, но старые, бывалые вороны, покачивая головами, объясняли:

— Это не охота, дети. Это — война... Бывает такое... Люди с жиру бесятся, хе-хе-хе...

— Но почему же, ведь...

— Не твоя это забота. Ты только знай свое дело. Теперь и на нашей улице будет праздник. Настоящий урожай. Столько падали тебе и не снилось.

Наш ворон внимательно прислушивался к таким беседам и решил, что для него наступило самое подходящее время. Он решил забросить вонючие свалки и взяться за более прибыльное дело. Теперь пора!.. Теперь — или никогда.

Осторожно перелетая с ветки на ветку, с дерева на дерево, наш ворон добрался до места сражения, и его зоркие глаза сразу заметили несколько убитых. Трупы были еще теплы. Он быстро и уверенно спустился и уселся на голову одного из убитых.

— Как это говаривал старый ворон? Дай бог памяти... Голову, ребята, всегда только голову, — макушку. Тут легко содрать кожу, да и кость тут очень слабая... А под костью мозг, большой превкусный мозг...

Немного прошло времени, и сотоварищи нашего ворона стали считать его героем. С нахальной смелостью следовал он за армией. Бой за боем. Не дожидаясь продвижения цепей, набрасывался он на свежие трупы. Мастерски пробивал клювом череп. Мозг, жирный человеческий мозг, стал его излюбленным блюдом. Фронт стал для него делом, стал богатым пиром.

— Ур-рожай! — покаркивал наш ворон, — хорошие ребята эти воины.

Его смелость заходила так далеко, что старые поседевшие вороны и издалека прилетевшие сюда коршуны, разинув от изумления клюв, смотрели на его подвиги и, содрогаясь, чувствовали превосходство этого ублюдка.

Однажды ворон, в своей жадности не отличив раненого от убитого, выклевал у него у живого глаз. Когда раненый взревел от боли, он вырвал и второй глаз, — а потом, привычными ударами разбив голову, жадно высосал теплый человеческий мозг. После этого случая ворон искал только раненых. Он долго скрывал это. Но как-то раз, хвастая своими подвигами, проговорился. За это он навлек на себя сильный гнев и ненависть своих товарищей. Последние предпочли, однако, молчать, опасаясь его сильного клюва.

На четвертый год войны ворон стал грозой всех прифронтовых птиц. Не одна слабая птица примкнула к нему, и постепенно вокруг него образовалась верная гвардия, которая безжалостно прогоняла слабых, неорганизованных птиц и завладевала свежими жертвами боев.

...Девять ден у меня после пути оставалось... И с первой минутки тоска брала, что скоро назад надо... Ни часочку радости не имел... Сердце отогреть боялся, горя ждал впереди большего... Больше в отпуск не согласен. Бог с ним!..

Из подслушанных солдатских разговоров. Федорченко — «Народ на войне».

ДЕСЯТЬ МИНУТ ОДИННАДЦАТОГО

Из романа «Год рождения 1902 г.» Эрнста Глэзера

Когда я остановился около дома, где жил Пфейффер, было уже темно. Я постучал. Открылась ставня. В окне показалась безобразная голова Пфейффера.

— Ах, это ты? Я сейчас отопру!.. — Несколько мгновений спустя я услышал во дворе его шаги. Подойдя к нему вплотную, я заметил, что он был бледен.

— Входи, — сказал он, — хотя... — он вдруг всхлипнул.

— Что случилось, Пфейффер?

— Ах, это из-за матери... Она умирает...

Я не уходил и в то же время не мог придумать, что бы ему сказать. И продолжая стоять на месте, я пробормотал заикаясь:

— Задачи по математике...

Пфейффер взял меня за руку и, подталкивая вперед, провел по двору.

— Ты напрасно стесняешься... Пойдем ко мне...

В комнате, тускло освещенной красноватым светом перегорающей электрической лампочки, был накрыт стол. За столом сидел отец Пфейффера и ел. Около него сидели младшие сестры и братья Пфейффера, рыжеволосые ребятишки, с большими удивленными глазами. Было очень тихо. Слышен был только шум, который производили ужинающие, и какой-то шорох, доносившийся из-за прикрытой двери, ведущей в соседнюю комнату.

— Добрый вечер! — произнес я. Отец Пфейффера кивнул головой.

Было половина девятого.

Пфейффер пододвинул стул к краю стола, вытащил из кармана тетрадь и, протягивая ее мне, сказал:

— На, списывай!

Затем он вышел в соседнюю комнату.

Я сидел около ужинающих и не решался шелохнуться. Цифры плясали перед моими глазами. Геометрические фигуры походили на какой-то фантастический орнамент.

Отец Пфейффера вдруг перестал жевать и стал прислушиваться. В соседней комнате кто-то дважды коротко застонал, что-то прошептала сестра милосердия, затем снова все стихло. Портной поглядел на часы. Он словно не мог отвести от них глаз. Левой рукой он при этом мял и крошил кусочек хлеба.

— Вы не знали, что мать умирает?

— Нет, не знал, — сказал я, глядя в сторону.

— Я тоже не знал. Два дня тому назад они прислали мне телеграмму, чтобы я приехал. Майор дал мне трехдневный отпуск, включая сюда и дорогу туда и назад... Да и это он сделал для меня исключение: у них каждый человек на счету. Сегодня я должен уехать в десять минут одиннадцатого...

Он говорил это таким тоном, как будто читал по книжке. Затем, после некоторой паузы, он вдруг проговорил совсем другим голосом:

— Хоть бы уж конец! Хоть бы все кончилось, пока я здесь...

Меня знобило. Я не мог встать и уйти: слишком близко от меня были глаза портного. Если бы Пфейффер был здесь, я бы поспешил пожать ему руку и уйти.

— Не хотите ли закусить? — спросил портной, пододвигая ко мне нарезанный ломтиками картофель и немного фруктового пюре. И я в самом деле принялся есть. Я запихал в рот картофель и принялся жевать его, лишь бы что-нибудь делать.

Было 9 час. 15 мин., когда из соседней комнаты вышел врач и потребовал, чтобы ему дали горячей воды. Портной вопросительно поглядел на него и указал на свои часы.

— Я ничего не могу обещать вам — сказал врач. — Смерть может наступить каждую минуту, но возможно, что она заставит ждать себя еще часа полтора — два.

— В 10 ч. 10 м. отходит мой поезд, — с отчаянием проговорил портной.

Врач пожал плечами.

— Во всяком случае конец наступит еще сегодня ночью, — сказал он и снова ушел в соседнюю комнату.

Портной отстегнул свои вставленные в кожаную браслетку часы и положил их перед собой на стол. В комнате было совсем тихо. Слышно было тиканье секундной стрелки. В половине десятого портной принялся ходить взад и вперед по комнате. Сестры и братья Пфейффера, укрывшись в уголке за печкой, строили что-то из костяшек домино.

В 9 ч. 40 м. раскрылась дверь в соседнюю комнату. Портной круто приостановился. В дверях стоял его сын.

— Отец, уже время...

— Она умирает?..

— Нет, но тебе пора уходить...

Портной пошатнулся. Он ухватился за край стола. Глаза его выступили из орбит.

— Я не уйду! — заревел он, как раненый зверь.

— Нет, отец, ты уйдешь!..

— Я не уйду, пока она не умрет!..

— Это может продлиться еще несколько часов...

— Скажи врачу, чтобы он это как-нибудь ускорил... пусть он... пусть он... Иначе я не уйду!.. Нет!.. — повторил он еще раз и опустился на стул.

Пфейффер подошел к нему совсем близко. Он склонился к самому его уху:

— 10 ч. 10 м.

И затем добавил почти вкрадчиво:

— Ведь ты знаешь сам, что обещал майору не просить о продлении отпуска. Ведь ты знаешь сам, что ожидает тебя, если ты опоздаешь.

Портной как-то сразу поник. Пфейффер помог ему подняться, принес ранец, пристегнул ремни, повесил ему че-

рез плечо винтовку, надел ему на голову шлем и затем вот так, в полном боевом снаряжении, подвел его к дверям в соседнюю комнату.

— Махни ей рукой!

Махнул ли портной рукой, — я не помню. Я помню только, как он стоял в комнате, целовал детей и за руку прощался с Пфейффером.

— Не беспокойся,— сказал Пфейффер.— Я присмотрю за всем.

Портной кивнул и вышел. Приклад винтовки с шумом ударился о косяк двери. Слышно было, как портной бегом пробежал по двору.

Пфейффер вернулся и сел рядом со мной. Я услышал, как он бормотал, словно разговаривая сам с собой: «Самое главное—это сохранить здесь все в порядке»... Затем повернувшись ко мне он добавил:

— Какой смысл это имело бы, если б отец остался до завтра? Они стали бы его разыскивать, и ему долго пришлось бы объясняться, пока они поверили бы ему. Такова уж эта война, что все должно происходить аккуратно, минута в минуту, иначе всего бы этого вовсе не было или оно давно бы уже кончилось...

Я не понял его слов, но они сохранились у меня в памяти.

— Пфейффер,—спросил я, — что ты будешь делать, когда умрет твоя мать?

Он посмотрел на меня с удивлением. Мне почудилось даже, что он смеется.

— Работать — что же мне больше делать?

Мне стало стыдно. Он повидимому заметил это.

— Видишь ли ты, — проговорил он взяв меня за руку.— Ты этого еще не понимаешь... Ведь ты еще слишком молод...

— Мы ведь с тобой однолетки...

— Нет! — голос его прозвучал вдруг резко.— Тебе живется лучше...

— Пфейффер, — проговорил я заикаясь, — Пфейффер! Я постараюсь, чтобы тебя никто теперь никогда не бил...

Пфейффер улыбнулся.

— Да ведь мне теперь и некогда будет с вами играть... А может быть мы и не имеем больше права заниматься такими глупостями... ведь все обстоит совсем иначе, чем мы себе это представляли... Отец сегодня говорил, что на войне гораздо больше убитых, чем героев...

— Пфейффер! — вскрикнул я, рыдая. — Я сегодня днем видел первого убитого солдата.

Он не отвечая взял мою тетрадь и стал чертить в ней геометрические фигуры. Покончив с этим делом, он взглянул на часы. Было 10 ч. 10 м. Мне стало страшно. Я свернул тетрадь и протянул Пфейфферу руку. В эту минуту открылась дверь. Одетая в синее бумажное платье сестра милосердия сделала знак рукой. Пфейффер кивнул головой и, взглянув на меня, вошел в комнату умирающей.

Потихоньку, словно я что-нибудь украл, засунул я тетрадь в карман и, ощупью пробравшись через темные сени, спустился вниз по лестнице. На улице было светло. Выпал снег. Я не слышал звука своих шагов.

«Эта революционная массовая борьба пролетариата за социализм возгорится из борьбы рабочих масс против всех тех несчастий и тягот, которые порождены империалистической эпохой: из борьбы против вздорожания, против безработицы, растущего налогового бремени, колониальных авантюр, национального угнетения...

Призвать пролетариат к этой борьбе, организовать его для решительного натиска на капитализм — вот единственная программа мира социал-демократии. С л о ж и т е о р у ж и е, обратите его против общего врага, — капиталистических правительств. Такова программа мира, выдвигаемая Интернационалом».

Из проекта резолюции Циммервальдской левой от 10 июня 1916 г. Собр. соч. В. И. Ленина, т. 19, стр. 437.

БЕРЛИН НОЧЬЮ В ФЕВРАЛЕ 1918 ГОДА

Из романа Бернгарда Келлермана — «9 ноября».

Ночь... Шумит дождь, черный дождь. Спит огромный город и задыхается во сне. Люди обливаются потом в своих постелях, несмотря на леденящий холод квартир. Холодный пот выступает у них на лбу, открытыми глазами уставились они в ночную тьму. И не вскрикивает больше во сне огромный город, как — помнишь — тогда, в начале войны. Каждую ночь раздавались тогда ужасные крики из дворов, из домов неслись страшные стоны и вопли отчаяния, — дождь телеграмм сыпался на город: убит, убит твой сын, твой муж, твой любимый, кормилец твоих детей, убит, убит... и великан-город кричал. Но еще гудел в воздухе звон колоколов, торжествовавших победу, и пылкие юноши и бородатые мужчины, все в цветах, стремились туда...

... Они больше не кричат. Тихо лежат они, впиваясь ногтями в грудь, садятся на постелях и шепчут — одно имя...

Тихо лежит во тьме огромный город.

Потухли пожары огней, вырывавшихся по ночам из вокзалов и окрашивавших небо в алый цвет. Теперь только чуть светится туман над бесконечной тьмой пропитанного дымом города. С визгом и свистом проносятся поезда между темными домами. Незаметно ночью пробираются они к потушенным вокзалам и везут раненых с полей сражения, — тех самых, что с цветами покидали город. День не должен их видеть. Огромные тени колеблются на запыленных стенах вокзалов, то тут, то там тихо качаются носилки, автомобили торопливо, крадучись, скользят на своих резиновых шинах по улицам взад и вперед... Потухают огни, и вокзалы погружаются в тьму, пока вновь не загремит, не закричит поезд: я везу их... И снова колеблются огромные тени на пыльных вокзальных стенах, качаются носилки, и, крадучись, скользят автомобили на резиновых шинах. И так всю ночь, каждую ночь.

Вот опять гремит поезд, а сколько их в дороге! Там далеко, среди полей картофеля и свеклы, под проливным дождем... Много, тысячи.

И к самому сердцу города каждую ночь подступает кровавая волна. А на рассвете дня тихо катятся лазаретные телеги далеко за город, через предместья, до самых кладбищ. Телеги эти полны гробов, в которых лежат они, ушедшие с цветами... без платья, без сапог, без белья... но они больше не зябнут... Это начало февраля 1918 года.

Молчаливые улицы бегут без конца. Издевающиеся призраки фонарей по углам. На обгоревших домах криво повисли торговые вывески. Огромные буквы, холодные, мертвые; фамилий не видно, фирмы закрылись, магазины пусты. В темную ночь возвращаются в них тени убитых и садятся за письменные столы в конторах, бродят по пустым магазинам. Толпятся на лестницах тени посыльных, почтальонов; убиты... убиты. Метельщики метут темные улицы... убиты... Тени омнибусов мчатся сквозь толпу видений, заливающих улицы, словно море. Тени убитых кучеров, тени убитых лошадей. Каждую ночь возвращаются мертвецы в этот огромный мертвый город.

Боязливо сворачивает за угол сторож. Зубы его стучат от страха, — огромные буквы, словно мертвецы, смотрят на него со стен домов, они кивают, они улыбаются так страшно...

И вдруг вздрогнули мертвые улицы. Раздается быстрый стремительный шаг, шаг мчащегося человека. Голос зовет. Бессонные люди приподнимаются в холодных постелях. Угрозой звучит этот голос над мрачным городом. Мокрые от пота волосы встают на голове. Что он кричит? Вот опять, и так каждую ночь.

Широкая, защитного цвета, солдатская шинель развевается у темного угла. Он несется по улицам. Вытянутые для проклятия руки подняты вверх. Угрозой звучит голос над темными домами:

— Горе, горе живущим на земле!

Те ли это слова?

Люди, прислушивающиеся к ним в своих постелях, не понимают их. То предвечные, тысячелетние слова, — они чувствуют это, то слова проклятия и гибели!

Сторож бежит прочь от него. Солдат! Они ловко научились работать ножом последнее время...

Но вот уже голос звучит издалека, разносится вдоль бесконечных улиц, отдается в предместьях, звенит среди полей. Долго еще дрожат звуки в воздухе среди спящих домов.

Темно на углах улиц. Но как только пронесется мимо них широкая солдатская шинель, вдруг сверкнет свет из темных стен, — черные камни приоткрывают один глаз, и горят в темноте слова:

«В с е л ю д и — б р а т ь я».

Белая, как известь, мелькнет солдатская шинель далеко, в свете фонаря. Вот и пропала она.

Снова все тихо, снова словно мертвый лежит город-великан, город из пепла.

А там, в предместьях — светло. Город из пепла опоясан кольцом ослепительных огней: шумные, сказочные дворцы фабрик сияют во мраке. Шипит раскаленный пар, густой черный дым клубится из труб, как на военных судах на полном ходу. Вертятся колеса, дрожит пол. Тысячи стоят у станков, где брызжет масло; тысячи тащат гранаты, точат, полируют. Многие тысячи истомленных бессонными ночами бледных работниц в ярком свете дуговых ламп у рабочих столов набивают, взвешивают, упаковывают. И, задыхаясь, ползут тяжелые поезда... туда... далеко...

Вся страна работает эту ночь, каждую ночь, миллионами рук, а заказчиком — смерть...

НАРОСТАЮЩИЙ ПРОТЕСТ ПРОТИВ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ И ПЕРВЫЕ РАСКАТЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

— Я бы сам каку войну выдумал, для справедливости. Чтобы на год муку принять и другим грозы наделать. Да чтоб потом на белом свете всем хорошо жилось. Коль и загубила б нас та война, так детям да внукам может вольготнее жилось бы. Хоть и не след присяжному признаваться, а сказать-скажу,—знаю супротив кого война надобна...

Из подслушанных солдатских разговоров. Федорченко «Народ на войне».

Пропаганда классовой борьбы и в войне есть долг социалиста: работа, направленная к превращению войны народов в гражданскую войну, есть единственная социалистическая работа в эпоху империалистического вооруженного столкновения буржуазии всех наций.

В. Ленин. Положение и задачи социалистического интернационала. Собран. соч., т. 18, стр. 71.

«... пролетарское знамя гражданской войны не сегодня, так завтра,—не во время теперешней войны, так после нее, не в эту, так в ближайшую следующую войну,—соберет вокруг себя не только сотни тысяч сознательных рабочих, но и миллионы одураченных ныне шовинизмом полупролетариев и мелких буржуа, которых ужасы войны будут не только запугивать и забивать, но и просвещать, учить, будить, организовывать, закалять и подготовлять к войне против буржуазии и «своей» страны и «чужих» стран»...

В. Ленин. „Положение и задачи социалистического интернационала", Собр. соч., т. 18, стр. 71.

ПЕХОТИНЕЦ РЕЙЕ

Рассказ Арнольда Вейс-Рютель

Палата № 39

Суставной ревматизм солдата на койке № 14 — прямое последствие трехлетнего пещерного существования на западном фронте.

— Природа мстит, разумеется,—говорит толстый монтер с койки № 15. — Тот, кто грешит против природы... тот неизбежно погибает... Грешите ли вы по собственной воле... ну, например, из любви к отчизне, что ли, или же вас заставляют грешить.... Это, конечно, все равно. Главное—это то, что вы грешите...

Койка № 15 служит повидимому приютом философу. По профессии он монтер, а в настоящее время он—солдат, но прежде всего он философ. Он толст и весит бог весть сколько, а лицо его, наперекор величию переживаемой эпохи, сияет ярким, сочным, здоровым румянцем.

Койка № 14, между тем, служит последним убежищем умирающему. Такая мысль приходит в голову при взгляде на лежащего на ней больного. Таково, впрочем, и мнение главного врача...

— Если бы только мы могли их лучше кормить,— говорит главный врач, обращаясь к палатному ординатору. — Этим людям нехватает прежде всего жизненных сил.... За отсутствием этих сил они медленно погибают... Просто-на-просто тают. Номеру четырнадцатому следовало бы получать то, что получает больной номер три.

Младший врач пожатием плеч выражает свое согласие с мнением старшего врача. Ему, конечно, очень жаль, но... ничего мол не поделаешь. Номер три — это не койка № 3 в тридцать девятой палате, а отдельная палата № 3 в особом отделении. В этой отдельной палате лежит больной, получающий прекрасное питание. Но ведь в этом нет ничего удивительного. Каждый знает, что бывают отдельные палаты в особых привилегированных отделениях. Ничего особенного ведь в этом нет...

В 39-й палате лежат солдаты. За месяц в ней успевает перебывать человек тридцать, но одновременно лежит всегда семнадцать человек. То один, то другой из них исчезает... «Вычеркивается из списка», как говорит главный врач, подразумевая при этом, что не всякий мол способен приноровиться к нынешним тяжким временам, особенно, если предварительно в течение трех лет «грешить против природы» на западном фронте... «Н-да, да,— добавляет главный врач,— сами по себе все эти болезни и ранения были бы излечимы... если б только этих людей можно было хоть сколько-нибудь подкормить».

Но такой возможности у него нет. Да и как она может у него быть... ведь и для него самого существуют мясопустные дни и слава тебе, господи, что на свете есть хоть овсянка и искусственный мед.

«Это все потому, что у нас совсем нет связей», упрекает его трижды в неделю его супруга (случается это всегда в мясопустные дни). Да, доктор и сам теперь готов согласиться, что лучше бы он в мирное время во время отпуска ездил к родственникам в баварскую деревню, чем в Париж.

О прекрасных блюдах, которые он ел в Париже, главный врач вспоминает с каждым месяцем тем чаще... чем дольше

тянутся «тяжелые времена» и чем усиленнее «наши доблестные войска» заняты завоеванием этого самого Парижа.

Больной на койке № 14 тоже, впрочем, упивается воспоминанием о Париже. Человек, занимающий ее («занимающий» пожалуй слишком сильное слово для того, что лежит на этой койке), одним словом — пехотинец Вилли Рейе, тоже вспоминает о еде в Париже. В Париже он провел самые прекрасные, хоть и голодные годы своей жизни. Но нигде не голодал он так изысканно в кулинарном отношении, как там.

Койка № 15, т. е. философ на койке № 15, ничего не знает о Париже. С одной стороны у него собственные жировые запасы, которыми он как лягушка поддерживает свои силы... с другой у него в деревне брат, присылающий ему в госпиталь каждую неделю посылку с яйцами, копченым мясом, маслом и фруктами.

Нужно отдать справедливость философу,— он вовсе не жаднюга какой-нибудь, но он, как и подобает современному философу, стоит на строго рационалистической точке зрения: разделить содержимое такой маленькой посылочки между семнадцатью взрослыми мужчинами — это значило бы только повергнуть в страдание и горе каждого из них. Философ считает, что гораздо умнее и сообразнее смыслу законов природы поддерживать силы и жизнь одного, чем свести с ума семнадцать человек. Ведь если разделить пять яиц на семнадцать частей — то получатся такие крохотные порции, которые способны как яд подействовать на изголодавшиеся организмы... ну, а если отдать предпочтение одному из товарищей по несчастью?... Какие чувства это могло бы вызвать со стороны остальных?... Философ видит только два выхода: либо отказаться от приема посылки, либо самому съесть ее содержимое. Первый выход противоречит естественному чувству самосохранения. Второй — грозит подвергнуть виновника обвинению в эгоизме... И философ по мере сил старается опровергнуть это обвинение. Получая посылку, он тяжко вздыхает, вскрывая ее — стонет и, открыв, рассматривает содержимое с таким печальным

видом, словно хочет сказать: «надолго ли?»... При этом подразумевается не содержимое посылки, а жалкая жизнь бедного философа. Со слезами уплетает он яйца, колбасы и масло. Он старается изо всех сил, спешит, если можно так выразиться, сжечь все мосты... Он рад, что наконец, наступает момент, дающий ему право думать о предстоящих ему шести голодных днях, когда он будет разделять печальную судьбу своих соседей по палате.

Он всхлипывает как ребенок, глядя на разложенные перед ним драгоценности, и ясно видно, что ему хотелось бы сейчас же по их уничтожении умереть... от несварения желудка. Мгновенно. Без лишних мук.

— Берегитесь, как бы природа не отомстила вам, — говорит обитатель койки № 14.

— О-ох! — вздыхает философ, забывая даже посолить яйца.— Да, да, я наверно когда-нибудь умру от несварения желудка. Вы только представьте себе: такие резкие переходы... Это очень опасно. Нет ничего вреднее резких переходов... Ах, если бы вы только знали, как у меня замирает сердце!..

Его стошнило...

Все обитатели 39-й палаты принимают горячее участие в судьбе философа. Одни, приподнявшись, усаживаются в кровати и не сводя глаз следят за всеми его движениями. Другие, которым на этом свете приподняться уж не суждено, наслаждаются хотя бы звуками, издаваемыми челюстями философа.

Пехотинец Рейе закрывает глаза. Он единственный в палате, не осуждающий философа за то, что у него есть брат в деревне. Он понимает, что при других условиях этот самый брат ни на что бы, может быть, не пригодился. Все в мире относительно... В пределах этой палаты не существует общественных делений и преимуществ. Еженедельная посылка со жратвой, получаемая одним из них, не доказывает ровно ничего, кроме разве того, что деревенским братьям нужно прививать чувства семейной привязанности в самом широком масштабе.

Ну, а пока все остается таким, как есть.

Однажды ночью философ вдруг начинает отхаркиваться.

Он харкает точь в точь так же, как харкали те, которых пришлось «исключить из списков».

На утро после этой ночи в тазу выносят, примерно, треть его легких.

В течение второй ночи он выплевывает в таз вторую треть.

Вместе с последней третью уходит от земного существования и он сам. Лежит на койке, ничуть не изменившийся, все такой же толстый и ни чуточки не менее румяный.

Вот так история! Как раз накануне прибытия обычной еженедельной посылки!..

Отошлют ли посылку обратно? Обратно брату в деревню?

В палате № 39 ее, во всяком случае, никто так и не увидел...

Теперь через каждые день — два приходится кого-нибудь «исключать из списков».

Все харкают, словно сговорившись между собой.

Поступают новые и удивительно быстро научаются харкать.

Один только Рейе составляет исключение.

Главный врач даже головой покачивает:

— Этот номер четырнадцатый, — говорит он, обращаясь к ординатору,— несмотря на все свои болезни, повидимому, выносливее их всех.

Нельзя ставить в вину главному врачу, что слова эти в его устах звучат почти упреком. «Случай» исключительный и просто поражает его воображение.

Итак, Рейе не харкает.

Зато он ухитряется схватить нечто другое. Откуда такая штука — неизвестно. Должно быть от сквозняка.

Для ревматизма сквозняк представляет опасность; но разве мыслимо избежать сквозняка?.. Товарищи по палате задыхаются и спасение видят только в открывании окон. Когда вкатывают столик с инструментами и операционный столик, дверь также остается всегда открытой.

Пехотинец Рейе давно замечает, что сквозняк вредит ему.

Но апатия его безмерна.

Уши его полны фронтового шума. Все члены его распухли так, словно на них наросли какие-то подушки... Малейшее движение пронизывает все тело такой болью, которую не к чему описывать тому, кто когда-либо переживал ее... А тому, кто ее не переживал,— тому ее не опишешь... Подкладывание судна равносильно медленному вдавливанию бритвы. Оно разрезает тело на две судорожно подергивающиеся половины. Когда подол сестры еле-еле касается койки № 14, лежащий на койке человек в течение секунды, своей продолжительностью равной вечности, медленно околевает.

Для человека, находящегося в таком состоянии, сквозняк очень опасен.

Несмотря на владеющую им апатию, Рейе полон упрямства. Человек состоит весь целиком из боли и упрямства. Так как он лежит около самых дверей, то больше всех других больных страдает от всех прелестей сквозняка, но зато он имеет возможность видеть, что именно во время обеда провозят в «особое отделение». Сквозь дверную щель проникает раздражающий ноздри и возбуждающий аппетит аромат. Ощущения Рейе в такие минуты полностью совпадают с ощущениями собаки, у которой 20 000 вшей, парша, чахотка и которая ко всему этому еще издыхает от голода. Но ни чахотка, ни парша не могут довести ее до приступов бешенства. А голод — голод может...

Но Рейе до приступов бешенства все же не доходит. Этого не допускает ни его состояние ни администрация госпиталя. Зато в нем развивается и растет то, что называется упрямством. Это, в сущности, нечто большее, чем упрямство. Это нечто жуткое и могучее, какая-то потенциальная сила, концентрирующая в себе элементы всяческой движущей миром энергии.

Рейе лежит с виду спокойный... Словно погруженный в какую-то видимость смерти. В нем, в его сгорающем от жара теле, живет единая, торжественая мысль, разлагающая все мелочные и смешные мысли о болезни.

Товарищи, соседи по палате, умирают. Их убивает их

апатичная покорность судьбе; не грипп, нет, и не недостаточное питание.

Они гибнут, эти несчастные, потому, что не имеют опоры в идее. В великой идее... идее более сильной и могущественной, чем все мысли со всех сторон впивающиеся в их жалкое, умирающее я.

Рейе не даром лежит так близко к дверям. Правда, от дверей дует и он сквозняку обязан ухудшением своего состояния. Но одновременно с этим он имеет здесь и нечто другое... И если б не это, о тогда сквозняк быстро доканал бы его.

Главный врач, правда, того мнения, что номер четырнадцатый медленно сходит на-нет. Он не знает, чем бы помочь этому больному.

Дело в том, что с левой стороны на лице № 14 появляется нечто вроде рожистого воспаления. В конце концов вся левая половина лица превращается в нечто ярко-красное и морщинистое, в чем совершенно нельзя разобраться. Самое неприятное во всей этой истории — это глаз... Глаз буквально печется в этом жарком и красном тесте. Он становится все меньше и меньше, съеживается, и однажды утром его уже больше совершенно не видно.

Главный врач прописывает примочки из борного раствора. Но прав в свое время был, повидимому, философ: самое скверное — это резкие переходы.

Рейе лежит и с полным доверием к компетенции врача прижимает холодную примочку к горячему отекшему глазу.

Левая половина лица горит как в огне... К тому же от дверей дует... В течение недели врач ограничивается наблюдением. В конце концов состояние больного начинает вызывать опасения.

— Завтра, Рейе, вас переведут в глазную клинику. Там имеются все нужные приспособления для лечения.

Глазная клиника

В глазной клинике оборудование — первый сорт.

Прежде всего старший ординатор этой клиники сразу

констатирует нелепость лечения такого глаза борным раствором и сквозняком.

Кроме того здесь много уютнее, чем в тридцать девятой палате, много чище и спокойнее.

— Дважды в день по получасу световой согревающий компресс... — предписывает старший ординатор. — А там посмотрим, во что эта история выльется...

Рейе начинают лечить согревающими компрессами.

Глазная клиника имеет одно огромное преимущество. Рейе лежит один в палате. Эта небольшая палата отличается от отдельных палат «особого отделения» только в отношении стола.

В палате царит чарующая тишина. Нет сквозняков, а электрические согревающие компрессы — райское блаженство.

Клиника обслуживается светскими сестрами. [1]

Имя сестры, ухаживающей за Рейе, Эльфрида. Она самая красивая женщина, когда-либо носившая наряд сестры милосердия. Рейе, не утративший, несмотря на все свои болезни, любви к прекрасной форме, может утверждать, что грудь, скромно прикрытая белым халатом, достойна всякого восхищения.

— Вы художник, господин Рейе?

— Да...

Сестра Эльфрида улыбается и не обращает внимания на безобразную половину лица своего пациента. Правая сторона лица красноречиво говорит о том, как выглядела и, будем надеяться, скоро снова будет выглядеть левая. Сестра Эльфрида — женщина, не считающая необходимым скрывать от тяжело больного симпатию, которую он ей внушает, и эта симпатия оказывает быть может еще более благотворное действие, чем компрессы. Во всяком случае она действует много лучше сквозняков.

Все поведение сестры Эльфриды насквозь проникнуто женственной мягкостью.

---

[1] В Германии большинство госпиталей, особенно военных, обслуживались сестрами милосердия — монахинями.

Пехотинец Рейе пользуется всеми материальными благами, являющимися следствием нежной склонности, испытываемой по отношению к нему сестрой Эльфридой.

Вместо двух компрессов, длительностью по получасу каждый, он испытывает благодетельное действие одного компресса, накладываемого на весь день и всю ночь. Одновременно с этим он получает возможность собственноручно убедиться во всех премуществах питания больных из «особого отделения».

Тем не менее, старший ординатор на третий день пребывания больного в его отделении все еще не находит улучшения в его состоянии и озабоченно покачивает головой.

— Рейе, — говорит он на четвертый день, останавливаясь у койки больного, — вы человек, немало переживший за эти годы... Я не имею основания скрывать от вас, что состояние вашего глаза... Если до завтра не наступит улучшения... я вынужден буду прибегнуть к операции...

Рейе сохраняет полное спокойствие.

— К о г о это вы собираетесь оперировать? — спрашивает он.

— Вас, голубчик вы мой... Придется удалить глаз.

— Удалить?.. Вы хотите сказать в ы р е з а т ь?

— Н-да... вырезать...

— Вырезать?.. Без моего согласия вы во всяком случае не имеете права проделать это, господин тайный советник...

— Конечно... но... но я настойчиво советую вам...

— Советуете?..

— Самым решительным образом...

Рейе улыбается. Это факт: он улыбается. Может быть при одной мысли о возможности такого предположения, может быть и по какому-нибудь другому поводу...

— Ведь я — художник, господин тайный советник... Художник... Мне мои глаза так же необходимы, как и вам ваши собственные.

— Это, разумеется очень неприятно, мой друг; но избежать операции все же будет, должно быть, очень трудно.

— Почему же именно?

— Потому, что и второй глаз подвергается очень большой опасности... Очень, очень большой опасности.

— Вы предполагаете, что я могу потерять и второй глаз?

— Если мы не удалим больного глаза — несомненно.

— Глаз удален не будет, господин тайный советник. Один глаз мне все равно не нужен. Мне нужны оба. Если я не смогу сохранить оба... что ж, тогда я уж лучше откажусь от обоих... Итак, пожалуйста, никаких операций!

Кто же поставит в вину врачу, если он, слыша такие речи, мысленно обзывает своего пациента сумасшедшим... Зато сестра Эльфрида, сияя, прислушивается к этому диалогу.

— Только не отчаиваться, господин Рейе! Мы спасем ваш глаз! Я спасу его!

О, сестра Эльфрида в это мгновение — настоящая святая девственница, с изумительной решительностью, свойственной только ее полу, готовая противостоять всем враждебным силам и способная совершить большее, чем гений величайшего маршала. Она сразу решает, что голод принес организму этого человека гораздо более существенный вред, чем ревматизм. Поэтому она крадет для Рейе (ей-богу крадет) все, что ей только удается украсть. С детской беззаботностью пренебрегает она всеми указаниями врача и круглые сутки оставляет на помертвевшем глазе электрический согревающий компресс.

Она приносит в палату цветы, она читает больному вслух. Она ведет себя словно возлюбленная... и это вполне бескорыстно... она до мозга костей женщина, не желающая дать погибнуть возможному мужу...

— Зайдете ли вы когда-нибудь меня проведать, когда поправитесь и выпишитесь из госпиталя?...

Рейе выражает согласие. Он прекрасно знает, что не зайдет к ней. Но зато он также прекрасно знает, что компрессы могут принести огромную пользу, особенно, если применять их так, как не предписал врач.

На восьмой день на месте глаза появляется небольшая белая точка.

На девятый день точка увеличивается.

На одиннадцатый день врач кивает головой и оправдывает свое предложение операции особенными свойствами организма Рейе.

В полных жажды жизни глазах сестры Эльфриды дрожат слезинки.

Но Рейе переводят обратно в госпиталь и снова кладут в тридцать девятую палату, на койку № 5.

Койка № 5

В тридцать девятой палате все изменилось. Из прежних ее обитателей остались только двое: солдат с девятой койки, которого, повидимому, поддерживает такое же упрямое желание жить, какое придает силы и Рейе, и пехотинец на двенадцатой.

Пища стала еще более скудной и невкусной, чем раньше.

Все больны гриппом. Но теперь люди умирают уже не так безропотно и покорно. Теперь немало таких, которые, расставаясь со своим земным существованием, выражают протест, сыпля достаточно красочными проклятиями.

Все харкают.

Рейе чувствует, что глаз его спасен. Он не лежит уже больше на сквозняке. Койка его стоит в самой середине палаты, около штепселя. Ему накладывают электрические компрессы.

Он чувствует, что опухоль на суставах спадает и он мог бы теперь, на шестом месяце болезни, начать выздоравливать, если бы пища была хоть сколько-нибудь обильнее и питательнее... Теперь, когда его собственный организм готов наладить свою работу, он начинает ощущать острую жалость к остальным больным, лежащим рядом в палате, и в то же время он впервые с удивлением задает себе вопрос, как же это могло быть, что он не оказался отравленным дыханием, с хрипом вырывающимся из этих пятнадцати порывисто вздымающихся грудей.

Эта мысль оказывает на него таинственное действие. На шестые сутки после возвращения пехотинца Рейе в тридцать девятую палату температура его ночью поднимается до сорока.

— Неслыханная история! — говорит главный врач, обращаясь к младшему ординатору. — Теперь он вдруг схватил грипп!

В этих словах звучит сожаление, но вместе с тем и некоторый оттенок удовольствия по поводу того, что все протекает по раз навсегда установленной программе.

Температура поднимается.

В следующую ночь она доходит до 41,3°...

У Рейе еще хватает присутствия духа помешать сестре положить ему на голову пузырь со льдом.

Он чувствует, что зрение в больном глазу восстанавливается.

— Рейе, голубчик, — говорит утром врач, — что вы тут проделываете? Ваша кривая...

На третью ночь кривой приходится претерпеть дальнейший подъем — 41,8°.

Рейе теряет сознание.

Ему не кладут на голову пузыря со льдом только потому, что его положение признано совершенно безнадежным.

На утро Рейе просыпается и стряхивает с себя лихорадку. Температура падает до нормы.

Врач совершенно потрясен: левая сторона лица Рейе так же гладка и бледна, как и правая... глаз совершенно здоров...

— Лихорадка, голубчик Рейе... Лихорадка... Я уже больше не опасаюсь за вашу жизнь...

Рейе садится на койке. Это он в первый раз за все эти месяцы садится. Боль в суставах значительно ослабла. Июньское солнце заливает палату ярким, теплым светом.

Рейе видит ослепительно белые койки, землисто-серые лица, исхудалые руки, полные безнадежной тоски глаза... Взгляд, которым он глядит на главного врача, можно назвать враждебным.

Главный врач беспричинно конфузится.

— Ну-с, Рейе! Как вы себя теперь чувствуете?

Рейе остается в своем полусидячем, полулежачем положении. Руки его опираются о кровать.

Он открывает рот и говорит ясным, звонким голосом:

— Я чувствую себя лучше, господин доктор... Но не собираетесь ли вы теперь уморить меня голодом?

— Я сейчас же прикажу дать вам чего-нибудь, Рейе!.. Разумеется. Сейчас же... Ведь вы должно быть еще не завтракали?

Рейе с силой вдавливает руки в жесткий тюфяк. Он явно нервничает. Голос его напрягается и будит дремлющие на койках бледные фигуры.

— Не собираетесь ли вы уморить н-а-с здесь голодом?

Врач совершенно теряется.

— Но помилуйте... Прошу вас...

— О чем?

— Прошу вас успокоиться!..

— Я совершенно спокоен, господин доктор. В течение шести месяцев я был почти по ту сторону жизни... Единственное воспоминание, сохранившееся у меня о жизни в этом учреждении, — это воспоминание о чудовищном, гнусном голоде, от которого издохло здесь бесчисленное количество людей...

— Рейе!..

— Да, да, издохли! Я три года пробыл на фронте — и я остался жив. Я в течение шести месяцев был смертельно болен — я преодолел болезнь... я чуть было не лишился левого глаза — но я не лишился его... у меня еще сегодня ночью была температура, опасная для жизни, а сейчас у меня нет и следов лихорадки... Господин доктор! Остался один лишь враг — голод!..

Голос Рейе звучит словно труба, возвещающая о восходе солнца. Семнадцать человек, до сих пор твердо убежденных, что все их страдания происходят от болезни, теперь под влиянием речей, доносящихся с койки № 5, начинают понимать, что все дело в голоде.

Врач видит кругом на всех койках фигуры сидящих людей, сидят даже те, которых он никогда уже не рассчитывал увидеть сидящими.

В самом деле голод, т. е. недостаток питания... это трудно было оспаривать.

Врач выходит на середину палаты.

Он говорит, глядя на Рейе, но слова его обращены ко всем присутствующим:

— Откуда мне взять лучшую пищу?.. Все нынче голодают...

Рейе энергично качает головой.

— Вранье!

— Как?

— Вранье!.. Я знаю, что больные, находящиеся в «особом отделении», не голодают. Я знаю, что здесь, в этом же здании, в каких-нибудь десяти шагах от нас, лежат люди, которые не проделали и тысячной доли того, что проделали на фронте мы, семнадцать изголодавшихся солдат... Да дайте же нам, ради всего святого, чего-нибудь пожрать! — неожиданно заканчивает Рейе. Он переоценил свои силы: выкрикнув последние слова отчаянной мольбы, он обессилев падает назад на подушки.

Врач пользуется этим временным поражением противника и спешит удалиться.

Зато через несколько минут появляется сестра Моника и раздает пирожки с мясом, в которых мясо, правда, не играет особо существенной роли, но которые все же являются в данных условиях блюдом весьма изысканным.

Пехотинец Рейе съедает не менее девятнадцати штук. Он охотно съел бы тысячу.

Голод

Суставной ревматизм начинает исчезать под влиянием утешительного сознания, что голодовка не является следствием личной неприязни к нему, Рейе, администрации госпиталя.

Главный врач делает «все, что в его силах», и солодовый кофе, благодаря добавке к нему суррогата «Квиета»,

приобретает совершенно новый вкус. Вместо искусственного меда, которого не выдерживает в силу затяжки «великой эпохи» ни один желудок, отныне на хлеб намазывается какая-то беловатая слизистая масса — маргарин, к которому добавлен и некоторый процент соли.

Синевато-серая жидкость, на дне которой иногда можно найти отдельные зерна ржи или пшеницы и именуемая супом, остается без изменений. Зато мучное сладкое блюдо приобретает известную гастрономическую утонченность, достигаемую примесью красновато-желтого порошка, отмеченного в списках химических продуктов этой славной эпохи под названием «Эйо». Надо отдать этому порошку полную справедливость: он придает блюдам, к которым подмешивается, весьма сносную окраску.

Многочисленные мясные блюда рассчитаны также на чисто внешний эффект. Они призваны своим внешне-аппетитным видом восполнять недостаточное сходство с настоящими мясными блюдами. Такое явное стремление хотя бы создать иллюзию вызывает чувство признательности, не исчезающее даже от вкуса этих блюд и от последующего их действия.

К сожалению, желудок и кишки настроены, очевидно, чрезмерно материалистически и относятся к этим блюдам нетерпимо, гневно и определенно отрицательно.

Пехотинец Рейе очень остро ощущает эту двойственность. По временам он склонен думать, что «великая эпоха» близится к концу. Это предположение он черпает из мучной похлебки, в которой плавают вываренные крупинки, и это единственное реальное и положительное, что он из нее черпает. Он знает, что ни трехлетнее пребывание на фронте со всеми его перипетиями, ни суставной ревматизм, ни больничная администрация, ни сквозняк, ни лечение борной примочкой, ни грипп — не способны встряхнуть за шиворот мировую совесть, а способен это сделать только голод.

Голод вовсе не то, что представляют себе под этим словом средние обыватели, терпящие, благодаря войне, значительные лишения.

Голод мучителен только в самой начальной стадии, а затем он начинает обладать магическими свойствами. Ну, как бы это выразить!.. Ну, вот, возьмем хотя бы... лестницу... Лестница — это спокойный, строго размеренный организм, состоящий из двух или больше ступеней. Если человеку этот организм представляется, как нечто движущееся, как некое построение, в котором все отдельные части действуют так, ну, например, как действовала бы вода, если б она широким потоком лилась по лестнице... если человеку кажется, что ступень перекатывается через ступень, внизу поглощается землей и одновременно вверху порождает новые ступени... тогда можно с чистой совестью сказать: — вот это и есть голод.

Желудок реагирует на это не непосредственно. Центром, через который все преломляется, оказывается мозг.

Человек не спит, но ему снятся сны. Он слышит при этом музыку, по сравнению с которой пастораль — только жалкое пиликание... Чудесную музыку.

Все предметы — будь то Венера Милосская или последний ночной горшок, все вещи, которые мы до сих пор считали мертвыми, при позднейших стадиях голода, начинают обладать собственной очень забавной жизнью. Они то вырастают и толстеют, словно поставщик, разжиревший на армейских поставках, раздуваются, словно олицетворение «национального самосознания», то вдруг съеживаются, сморщиваются и становятся такими тоненькими, жалкими, как-будто и они терпят голод. Иногда они вдруг расплываются, превращаясь в легкий дым — точь в точь, как слова и обещания императора, и начинают летать, словно цеппелины, которым не суждено уже вернуться; они лопаются и на некоторое время исчезают совершенно.

Пехотинцу Рейе не мало страданий в этом отношении причиняют шестнадцать коек в тридцать девятой палате. Эти шестнадцать коек ведут себя все по очереди, словно автомобили, совершенно забывшие о правилах уличного движения. Они маршируют куда-то, перебирая своими белыми лакированными ножками, сплетаются друг с дру-

гом, ползут вверх по стене и прилипают вверх ногами на потолке.

Пехотинец Рейе, с тех пор, как тем или иным путем извергает всякую преподносимую ему пищу, почти постоянно находится во власти таких видений.

— Повидимому, начинается заболевание мозга, — говорит, обращаясь к ординатору, главный врач. — Необходимо прибегнуть к усиленному, укрепляющему питанию, иначе он того и гляди сойдет с ума.

Гитара

Укрепляющее питание заключается в яичном ликере. Настоящем, подлинном яичном ликере. Его изготовляют в аптеке госпиталя и дают обычно только привилегированным пациентам.

Чтобы смягчить впечатление от такого утверждения, следует сказать, что пехотинцу Рейе, хоть он и не привилегированный, все же также отпускается настоящий яичный ликер.

Возможно, что это исключение из обычного правила объясняется тем, что Рейе так настойчиво и упрямо не желает умирать.

(— Каковы, собственно, намерения этого упрямого человека — вот, что хотелось бы знать!)

Во всяком случае — он ежедневно получает яичный ликер. Полный до краев стаканчик ликера!..

Яичный ликер оживляет нервную систему, проводит в спинной хребет ощущение тепла, освобождает мозг от галлюцинаций. Койки в полном порядке стоят в ряд вдоль стен. Рейе дорого бы дал за возможность сейчас также злоупотреблять ликером, как он злоупотреблял в свое время согревающими компрессами...

Рейе впервые после долгого промежутка времени вновь вспоминает о жизнелюбивой и жизнерадостной сестре Эльфриде, которая, если б она сейчас была здесь, наверно давала бы ему столько ликера, сколько бы ей только удавалось раздобыть. Но, увы, ее нет, а сестра Моника, с одной стороны, придерживается предписаний врача,

с другой — ребяческого убеждения, что яичный ликер — такое же лекарство, как аспирин или борная кислота, и полезен только в маленьких дозах. Ввиду того, что укрепляющее питье подается в аптечной мензурке, ни один из больных не догадывается о настоящем положении вещей, и «равенство» якобы поддерживается полное.

Рейе начинает возвращаться к жизни.

Возвращение идет медленно, но все же идет. Желудок начинает соглашаться на некоторые компромиссы, сердце начинает одумываться и регулирует свой ход, кровь готова поддержать общие добрые намерения... В один прекрасный день Рейе получает пакет, заключающий в себе шесть настоящих яиц, четверть фунта настоящего масла и настоящую бутылку искусственной малаги.

Сестра Эльфрида...

Теперь здоровье Рейе еще быстрее начинает итти на поправку. Малаге нельзя отказать в некотором действии. После каждой выпитой рюмочки Рейе чувствует себя на целый градус ближе к жизни. Он имел бы, казалось, все основания быть довольным.

Но в том-то и штука, что он все же не был доволен.

— Чувствуете вы себя лучше, крепче? — спрашивает главный врач. Рейе кивает головой.

— Но у меня есть одно желание, господин доктор, — говорит он.

— В чем дело?

— Дома... в моей мастерской... у меня осталась гитара... Мне очень хотелось бы иметь ее здесь... Это возможно?

Главный врач улыбается. (Какое дитя этот взрослый, казалось бы, человек, — скажет он потом своему помощнику. — Теперь вдруг ему гитара понадобилась!..). В глубине души он при этом будет радоваться тому, что любовь к музыке и веселью продолжает еще жить в душах «этих людей».

— Разумеется, друг мой... Я постараюсь добыть вам вашу гитару. Впрочем... разве необходимо, чтобы это была именно ваша собственная гитара?.. Может быть вы

удовлетворитесь моей? — Главный врач не варвар какой-нибудь: у него также имеется гитара.

— У вас есть гитара? — удивляется Рейе.

— Конечно, есть... Я пришлю ее вам. Меня радует, что вы понемногу опять привыкаете к веселью и радости жизни.

В тот же вечер Рейе приносят гитару.

Газета

К радостям жизни относятся также и газеты. Так уже принято.

Рейе выписывает газету, в которой изредка, словно между прочим, проскальзывает замечание о том, что... «на Сомме нам пришлось из стратегических соображений очистить одну линию окопов»...

Из этого как будто бы можно заключить, что на Сомме имеются еще «линии окопов», из которых одну пришлось очистить...

Рейе настраивает гитару.

Он пытается подобрать французскую песенку, начинающуюся воинственными словами: Le roi a fait battre l'tambour, rataplan, Le roi a fait battre l'tambour [1] но из дальнейшего выясняется, что король приказал бить в барабаны только ради того, чтобы собрать вокруг себя всех красавиц своего двора... Соседи по койкам, начавшие было внимательно прислушиваться, с досадой замечают, что ожидали от гитары чего-нибудь более интересного.

Но Рейе продолжает наигрывать свои песенки.

Суставной ревматизм дошел, наконец, до той счастливой стадии, когда жертва его получает возможность подняться с кровати и при помощи двух палок ковылять по палате.

Рейе пользуется этой возможностью и усаживается у окна. Солнечные лучи скользят по его спине.

За окном, в больничном саду, вопреки всем окружающим невзгодам, полным цветом цветут кусты и деревья. С завистью чувствуешь, что земля питает их не суррогатами, вроде «Эйо» и «Квиета», а настоящими продуктами природы.

---

[1] Король приказал бить в барабан.

На Сомме, из стратегических соображений, снова очищают линию окопов...

Рейе начинает предполагать, что военная цензура находится в каникулярном отпуску.

— Итак, мы, как я вижу, начинаем выкарабкиваться, — говорит главный врач, с сознанием одержанной победы, похлопывая пехотинца Рейе по плечу.

— Бывайте побольше на солнце... Солнце дает силы...

— О солнце!..

Впрочем тот, кто «выкарабкивается» и способен уже черпать силу из действия солнечных лучей, теряет право на пользование яичным ликером.

И вот, можно подумать, что состояние здоровья Рейе, являлось показателем состояния здоровья всех лежащих в палате номер тридцать девять: пища становится снова хуже и более скудной, хлеб — чернее, чем когда либо...

«Резкие переходы вреднее всего»...— вспоминает Рейе изречение философа с пятнадцатой койки. Его существование, включая и развлечения, представляется ему каким-то бесконечным винтом. Мысль о грозящем новом поражении в борьбе за жизнь мобилизует в нем всю энергию. В один прекрасный день он демонстративно выливает суп в помойное ведро и произносит: «Товарищи!..»

Платок

— Товарищи! — говорит Рейе, — слушайте внимательно. Пища изо-дня в день становится хуже. Одновременно с этим, я уже третий раз читаю, что на Сомме из стратегических соображений очищена линия окопов... Даже если б мне грозила необходимость лично участвовать в этом очищении окопов, я все же был бы счастлив иметь возможность покинуть этот госпиталь. Но до этого, как я чувствую, далеко. Неужели же мы допустим, чтобы нас здесь непрерывно держали на весу между жизнью и смертью? Неужели мы согласимся, чтобы в наши жилы вливали ровно столько сил (будь то при помощи доба-

вочного питания или при помощи солнечных лучей), чтобы дать нам возможность ясно ощутить, сколько нам было бы еще нужно, чтобы выздороветь? Неужели мы позволим, чтобы нас лишили надежды выздороветь на основании нелепых законов государства, которому мы к тому же доказали свою готовность умереть... но умереть там, где смерть как-бы в порядке вещей. Находимся ли мы здесь в таком месте, где мы имеем право надеяться на выздоровление и восстановление своих сил?.. Или эта палата также всего только линия окопов, которую из стратегических соображений приходится очистить для того, чтобы освободить место для других?.. Освободить место?.. Чего, собственно, мы здесь должны добиваться?.. Почему вы так тупо и безучастно валяетесь на своих койках и воображаете, что все происходит так, как раз навсегда установлено законом? — Кто, наконец, может вас заставить подчиниться такому закону?.. Там, на фронте, в районе Соммы, очищают линии окопов... Газета не скрывает этого факта... Да разве вы не чувствуете, что скрывается за этими строками?.. Подумайте о моих словах, товарищи, а пока скажите только, не желаете ли вы, чтобы с сегодняшнего дня пищу для особого отделения не проносили бы уж мимо нашей палаты, а вносили бы ее сюда?..

Товарищи что-то чуть слышно бормочут. Кое-кто поднимается на койке и удивленными глазами глядит на говорящего.

Остальные продолжают лежать и остаются безучастными.

Рейе и не ожидает ответа.

Он усаживается за стол и исписывает целый лист бумаги. Свое послание он адресует главному врачу.

— Сестрица, — произносит он, когда в палату входит сестра Моника, — дайте мне, пожалуйста, носовой платок!

— Зачем вам платок, Рейе?.. Ведь у вас есть собственные платки? — удивляется сестра.

— Мои не годятся, сестрица. Мне необходим здешний больничный платок.

Рейе просит дать ему казенный платок потому, что казенные платки красного цвета.

Получив платок, Рейе прикрепляет к дощечке над изголовьем газету с сообщением об отступлении на Сомме. Над газетой он вешает красный платок. Затем он забирается под одеяло.

Он чувствует, что его охватывает легкий озноб и слабость. Отчаяние от сознания, что он теряет последние силы, лишает его всякой способности к сопротивлению... Все тело пропитано этим чувством отчаяния, оно опустошает все. Остается одно лишь бессильное, но цепкое и живучее упрямство. Он долго, неподвижно, словно застыв, лежит в постели. Над изголовьем красуются газета и красный платок. С озлобленным нетерпением ждет он прихода главного врача.

Сестра улыбается, глядя на странное украшение над его кроватью. Она и представления не имеет об истинном значении этого сооружения.

Среди товарищей по палате есть один только, способный оценить происходящее. Это, правда, самый слабый и тихий из всех больных, но единственный з н а ю щ и й. Он голоден. Его блестящие от лихорадки глаза устремлены на красный платок. Он так слаб, что не может даже пожаловаться на голод... Он ждет спасения и помощи оттуда, где виднеется красное знамя.

Остальные видят огненный сигнал, но относятся к нему с полным равнодушием.

Страдания утомили их, и они радуются возможности лежать здесь, вместо того чтобы гнить в окопах на западном фронте. Они ждут счастья и спасения от этого госпиталя, от врача... Они и пищу находят не такой уж плохой, какой ее считает пехотинец Рейе... Как будто там, на фронте, было лучше!.. Они не фаталисты, готовые, не задумываясь о причинах, лечь и умереть... Они просто глубоко несчастные существа, которые м е н ь ш е е горе готовы, по сравнению с б о л ь ш и м горем, считать милостью

неба, милостью, потерять которую они так боятся, что согласны за сохранение ее заплатить даже своим человеческим достоинством. Не то чтобы надежда уносила их за пределы страданий и мук настоящего, нет, но... уж лучше тихо угаснуть на фоне мирного осеннего вечера, чем там, на фронте, быть отданным на растерзание бесконечному многообразию орудий смерти, находящихся в распоряжении невидимой и непонятной власти, чем быть разорванным гранатами или, хрипя, задохнуться, наглотавшись ядовитых газов... Здесь есть женщины, умеющие скрасить умирание, осветив его лучами христианского смирения, и мужчины, обладающие мудростью знания, не скупящиеся на утешительные речи и целебное питье. Чистые койки здесь, в палате, примиряют с пережитым еще вчера ужасом... Когда в комнату заглядывает солнце — все становится таким прекрасным, что лучшего и желать нечего.

Над койкой № 5 висит флаг. Он не развевается, он висит словно пропитанный кровью лоскут, красный призыв над газетным плакатом.

Рейе спит...

Вечером заходит главный врач в сопровождении ассистента. Он сразу же замечает флаг и газету, но направляется к другой койке.

Он то тут, то там останавливается и беседует с больными дольше чем обыкновенно... Задает вопросы, которых обычно не задает... Наконец, он с решительным видом направляется к койке Рейе и с наигранным интересом разглядывает сооружение над изголовьем.

— Ну-с, друг мой... что это вы здесь за украшение устроили?

Рейе неодобрительно качает головой.

— На Сомме из стратегических соображений очищают одну линию окопов за другой!..

— Скажите пожалуйста! Неужели?

— Да..!

Врач несколько смущен. Он потирает лоб, затем, ища выхода из положения, принимается считать пульс

Рейе. Считая, он не сводит глаз с флага над койкой Рейе.

— Вам не следовало бы, Рейе, принимать так близко к сердцу события на фронте. Это вредно влияет на ваше настроение.

— Неужели?

— Безусловно...

Рейе с трудом приподымается и, опираясь на локти, принимает полусидячее положение.

— А вы, господин доктор, — произносит он, глядя врачу прямо в глаза, — считаете, что и в наше «великое время» настроение человека все же имеет значение?

— Безусловно, безусловно!.. От настроения наших солдат зависит в большой мере все.

— От настроения?

— Ну, конечно!

— Ну-с... и это настроение по прежнему блестящее, не так ли?

— Т. е. что вы собственно имеете в виду?

— Да, вот я хочу спросить вас, верите ли вы, лично вы, что при помощи средств, предоставленных в ваше распоряжение, вы способны создать настроение, соответствующее тому, которое вы считаете желательным?.. Верите ли вы в это?

— Послушайте, мой друг... мы обязаны верить в это...

— А других обязательств у вас, по вашему мнению, нет?

— Мы делаем то, что в наших силах.

— И вам никогда не приходит в голову, что все то, что вы, якобы выполняя свой основной долг, делаете, производит эффект, диаметрально противоположный тому, которого вы стремитесь достигнуть?

— Рейе... Вы просто-напросто озлоблены!

— Вы поняли мой вопрос?

— Да, конечно...

— Ну, тогда вы поймете и то, что мне надоело оставаться молчаливым свидетелем обмана, который здесь

практикуется... Что я стремлюсь подчеркнуть и проявить вовне свои убеждения.

Врач пожимает плечами:

— Вы все равно не сможете ничего изменить!

— Вы ошибаетесь!

— Вы? Вы один?

— Я не один!..

— Где?!. Кто ваши единомышленники?

— Они всюду... В лазаретах и госпиталях... На Сомме, где они очищают окопы из стратегических соображений, соответствующих мобилизационному плану власти более могущественной, чем та, которую олицетворяет собою верховное командование!..

— Рейе!... Как ответственный руководитель этого госпиталя, я должен вас предупредить, что я не хочу терпеть и не потерплю в этих стенах политической пропаганды, такого явно вредного характера!

Рейе делает усилие и приподнявшись садится, опираясь о подушку.

— Господин доктор!..

— Я не потерплю!..

— Ну, конечно, терпеть вам не полагается. Терпеть обязаны мы. Мы, вот, должны терпеть, что вы, ответственный руководитель этого учреждения, даете издохнуть от голода 17 полумертвецам...

— Ни слова больше!

— Нет, я буду говорить!.. Вы кормите нас надеждами, а сами в глубине души отлично знаете, что мы нуждаемся в той пище, которую мимо дверей нашей палаты проносят в офицерское отделение. Но я не буду утруждать вас перечислением фактов... пожалуйста прочтите это письмо!

— Послушайте, Рейе...

— Прошу вас! Прочтите это письмо!

Врач исполняет его просьбу. Он имел-бы, конечно, право с гневным видом выйти из палаты, но он отлично сознает, что такое поведение с его стороны вызвало бы какую-нибудь бурную вспышку, последствия которой трудно предугадать. Поэтому он отходит к окну. Он читает очень

быстро, возможно даже и не вполне внимательно, но во всяком случае улавливает смысл и, не переставая читать, энергично трясет головой, от времени до времени повторяя:

— Нет, нет Рейе, вы судите обо всем крайне односторонне.

— Не могу же я судить десятисторонне, — возражает Рейе. — Неужели вы думаете, что я с той же нелепой объективностью, которая заставляет вас и ваших присных совершать самые бессовестные поступки, соглашусь свои законные права подчинить тому мертвому и потерявшему смысл чувству долга, которому служите вы? Дайте мне, ради всего святого побольше пищи, чтобы я имел возможность подняться на ноги и покинуть это богоспасаемое учреждение!..

Врач переходит к следующей койке.

— Прошу вас немедленно убрать платок!.. Прежде всего он — казенное имущество, и злоупотребление таковым воспрещено под страхом наказания!

Бунт

Казенное имущество отбирается и вновь водворяется на полку бельевого шкафа, вверенного заботам сестры Барбары. В то время как главный врач в кругу своих подчиненных высказывает недоумение по поводу того, что принадлежащие казне платки окрашиваются в демонстративно красный цвет, способный склонить таких безумцев, как этот пехотинец, к совершению явно преступных и наказуемых актов, вышеупомянутый пехотинец концентрирует все свои силы и помыслы на одном пункте: он хочет добиться своей выписки из госпиталя.

Главный врач, после длительных переговоров с хозяйственной частью госпиталя, дает распоряжение об увеличении хлебного пайка для всех больных палаты № 39 и о немедленном возобновлении «укрепляющего режима», т. е. о выдаче яичного ликера Рейе.

— Давайте ему столько, сколько он только хочет, — приказывает главный врач дежурной сестре.... При этом он

мысленно добавляет: «Надо же, наконец, избавиться от этого беспокойного парня»...

Четыре раза в день Рейе получает прописанный ему яичный ликер. Результаты быстро начинают сказываться.

Уже на третий день Рейе во всеуслышание объявляет своим товарищам по камере, что принимаемая им желтая жидкость не что иное, как яичный ликер.

— Каждому из вас яичный ликер мог бы пригодиться точно так же, как и мне, не правда ли? Но вы, к сожалению, не находите нужным что бы то ни было предпринимать. Я уже восьмой месяц лежу в этой палате и знаю ее историю так же твердо, как историю французской революции, о которой вы так же, разумеется, не имеете ни малейшего представления. На койке номер двенадцать, например, за это время умерло не менее пяти товарищей... Каждому из вас пришлось здесь хоть раз видеть умирающего; между тем, все вы воображаете, что здесь не так-то легко умереть... Ищете причину в болезни или ранениях.... Вы очень плохо осведомлены. В особом офицерском отделении лежит сорок восемь человек... За то время, что я нахожусь здесь, эти сорок восемь человек раза два успели смениться, но умерло там всего двое. Один из них был толстый поставщик картофеля, которому уж никакой яичный ликер помочь не мог, а другой тяжело раненый кавалерийский офицер. Офицер умер через три дня после поступления в госпиталь. Он умер бы и в том случае, если бы не лежал в особом отделении, а был бы помещен к нам в нашу палату. Вы, не способные, или вернее не желающие, мысленно заглянуть дальше, за стены этой палаты, вы и понятия не имеете о том, во сколько раз более легкомысленно и безответственно убивают людей здесь, чем на передовых позициях. Я мог бы, если б рассчитывал, что вы захотите понять меня, провести параллель между системой управления этим госпиталем и системой управления государством в целом. Я рекомендую вам во всяком случае подумать о том, что каждый из вас, благодаря своему рыбьему равнодушию, становится участником убийства десяти товарищей на фронте. Да, вот, поду-

майте-ка об этом и... не считайте меня ни безумцем ни озлобленным глупцом!.

Вот и все о действии яичного ликера.

Маленький человек с девятой койки, до сих пор не шевельнувшийся, но не спускавший горящего взгляда с красного сигнала, по окончании речи Рейе глубоко вздыхает.

В то время как главный врач совершает вечерний обход, с девятой койки доносится еле слышное, произнесенное хриплым голосом требование:

— Яичного ликеру!

— Что вам нужно? — мягко спрашивает врач, сразу уловивший связь между этими словами и предыдущими событиями.

— Яичного ликеру!

Врач поворачивается к Рейе.

— Вам известно, какому наказанию подвергаются организаторы бунта?

— Знаю, — говорит Рейе. — Их лишают яичного ликера!

Врач презрительно пожимает левым плечом и подходит к другой койке; он почти уверен, что сейчас со всех сторон на него посыплются подобные же дурацкие требования... Но ничего подобного не происходит.

Нет, кроме Рейе, получающего его, и маленького больного, желающего его получить, никто из больных не упоминает о чудодейственном напитке. Это, с одной стороны, удивляет врача, а с другой — настраивает его примирительно. В конце концов, это обстоятельство подтверждает его мнение о господствующем среди «этих людей» настроении, от которого все зависит. («Оно в общем вовсе не такое скверное, как болтают», — скажет он позднее своему помощнику, не ломая особенно головы над тем, к т о именно об этом болтает).

Врач в этот вечер задерживается дольше обыкновенного в тридцать девятой палате. Он медлительно и заботливо возится с каждым больным, борясь при этом с желанием подойти и еще раз пощупать пульс у Рейе.

А желание это томит его. Он останавливается у окна

и прозрачноалая окраска вечернего неба вновь напоминает ему о «казенном имуществе»... Опираясь руками о подоконник, он высовывает слегка голову за окно и бормочет что-то об «удушливой жаре».

— Если б я был волен делать то, что хочу, — говорит он, останавливаясь у койки № 7, на которой лежит некое безличное и подобострастное человеческое существо, — поверьте, все было бы по иному!

Подобострастное существо, разумеется, охотно готово этому верить и ухитряется, не шевельнувшись (на это у него не хватило бы сил), выразить врачу свое совершеннейшее почтение... Рейе, между тем, хотя сказанное относилось именно к нему, не отвечая, вперяет взгляд в потолок. Стоит почти невыносимая жара. Красные носовые платки пропитаны потом и все надеются на ливень и прохладу хотя бы ночью.

Главный врач на мгновение останавливается у постели Рейе.

— Если вы через три дня будете чувствовать себя настолько хорошо, что сочтете возможным выписаться...

— Разумеется я тотчас же сделаю это, — говорит Рейе спокойно и поворачивается на другой бок.

Выписка.

В последующие дни Рейе добровольно лишает себя яичного ликера. Он, правда, получает выписываемую ему порцию, но каждый раз относит свой стакан с ликером больному с койки номер девять.

Маленький жалкий солдатик испытывает безграничное восхищение перед своим более сильным товарищем. Взгляд его, полный восторженного уважения, всюду, словно волшебная бабочка, следит за Рейе.

Взяв в руки стакан, он не решается поднести его к губам и каждый раз ждет подбадривающего взгляда товарища... Но и глотая целебный напиток, он все не сводит глаз со своего благодетеля и является олицетворением почтительного страха и благоговения.

Рейе смотрит на это обожание, как на позорный результат воздействия грубой власти, принижающей слабых и обездоленных и способной уничтожить в них чувство собственного достоинства и веру в свои силы. Малейшее проявление сочувствия и внимания вызывает у этих людей порыв, далеко превосходящий меру благодарности.

Впечатления, произведенного в палате поведением Рейе, оказывается все же недостаточно, чтобы склонить пятнадцать обделенных к согласованным действиям. Они, правда, признают, что усиленное питание могло бы пригодиться им всем, но выражают свой протест против совершаемой по отношению к ним несправедливости только в форме колкостей и полных зависти взглядов. В этих взглядах сказывается их отношение к Рейе и больному с девятой койки.

Рейе не прочь пробыть здесь еще недели три. Возможно, что его интересует вопрос, скольких капель яда, каковым в данном случае является яичный ликер, окажется достаточно, чтобы пробудить сознание такого маленького круга одинаково обездоленных существ. Но, так как ему кажется, что он и без того предугадывает результат произведенного им эксперимента, он все же решается покинуть госпиталь. Он прогуливается по больничному коридору, внимательно изучает тележки с провиантом, провозимым в офицерское отделение, иногда в течение долгого дня внимательно следит за порядком питания привилегированных больных и поражается душевному спокойствию обслуживающих сестер, которые, очевидно, совершенно не задумываясь над двойственностью своего поведения, с одинаковой небесной улыбкой и благочестивой кротостью несут золото в палату богатых и камень в палату бедняков. Теперь, имея возможность вблизи рассмотреть разнообразные и изысканные блюда — жареную дичь, свежие овощи, пирожное и крепкий бульон, предназначенные для офицеров и платных больных, Рейе с содроганием думает о будущей судьбе руководителя этого учреждения. Его наверное произведут в тайные советники и будут с восторгом рассказывать о том, что он делал «все, что было в его

силах»... А затем... затем он будет растоптан и раздавлен колесом неминуемых и неумолимых событий...

Вечером, накануне выписки, Рейе, сидя на своей койке, тихонько перебирает струны гитары, вполголоса напевая при этом:

«Стой за право свое, за свободу...»

Он поет тихо, без всякого пафоса, почти про себя, но уже начиная со второй строфы, больные с четвертой и восьмой койки начинают тихонько подтягивать.

Наконец в дверях появляется сестра и требует водворения тишины и порядка.

— Возьмите, пожалуйста, гитару, — говорит Рейе. — Мне она больше не нужна.

Еще долго в эту ночь лежит он без сна.

На следующий день он прощается с товарищами.

— Если б я мог успеть, я бы еще зашел навестить вас, — говорит он, обращаясь к товарищам по палате, отношения с которыми у него испортились за последние дни, — но через две недели я должен уже буду отправиться к себе в часть. Желаю вам всего хорошего...

— Прощай, — говорят одни. Другие не отвечают. (Да и что им отвечать? Они лежат и думают: «Он возвращается в свою часть. Вот все, чего он добился»...).

С койки номер девять тянется к нему бледная рука и хватает его за край куртки.

— Я очень хотел бы еще когда-нибудь встретиться с вами на воле, товарищ художник...

Рейе сердечно пожимает худую, слабую руку.

— Поправляйтесь, голубчик, скорее... с помощью яичного ликера или без него. Поверьте, что ваша внутренняя энергия и убеждение в необходимости выздороветь играют не менее важную роль, чем питание. На первых порах достаточно набрать такой запас сил, какого хватит, чтобы хорошенько подействовать на нервы всему окружающему миленькому обществу. Итак — скорей выздоравливайте! А затем, помните! Только смелей! И не бояться жизни!.. До свидания!

— До свидания! — Худенький солдат долго еще глядит на дверь, захлопнувшуюся за Рейе.

В приемном покое Рейе еще раз приходится встретиться лицом к лицу с главным врачом.

— Мне хочется сказать вам на прощанье несколько слов, Рейе... — Главный врач фамильярно просовывает указательный палец между верхней и второй пуговицей форменной куртки пехотинца — Вы неглупый человек. Не позволяйте никому склонить вас на неосторожные поступки!.. Очень легко может случиться, что вы останетесь в одиночестве...

— «Остроумно придумано»,— проносится в мозгу Рейе.

— Рейе! — главный врач патетически повышает голос.— Не думайте, что события застанут нас неподготовленными...

— Я этого ни минуты не предполагал, господин доктор. — А теперь, разрешите спросить: вы способны оценить откровенность?

— Безусловно!

— Тогда я должен признаться... что на улице меня ждет девушка, которая в данный момент интересует меня гораздо больше всяких разговоров...

— Браво! Браво! — Главный врач сейчас просто человек, человек от пробора и до подметок своих башмаков. По лицу его скользит одобрительная улыбка, которую, пожалуй, можно бы назвать даже слегка легкомысленной. Назовем ее все же только одобрительной.

— У вас еще впереди целых две недели, друг мой. Поправляйтесь хорошенько... Кушать вам можно все.

— «Очень приятно», — думает Рейе. — Покорнейше благодарю за яичный ликер, господин доктор! — говорит он громко.

— Вы любитель поиронизировать, Рейе...

— Ничего подобного... Если бы я не знал, что это бесполезно, я обратился бы к вам на прощанье с просьбой...

— Я вас слушаю...

— Ведь я же сказал: е с л и б ы... Прощайте, господин доктор!

— Всего наилучшего... Желаю вам счастья... Постарайтесь исправиться!

— Прощайте!

— Прощайте!

Рейе выходит. Он идет вдоль длинного, прохладного коридора, спускается вниз по лестнице... Палки, на которые он опирается, ударяются о ступени.

Он шагает так быстро, как только это возможно при состоянии его здоровья. Вот он на широкой площади перед госпиталем...

Светит послеполуденное солнце, ярко освещая светлый гравий, обрамляющий цветочные клумбы. Все кругом покрыто зеленью и пронизано теплом. Ясно, что Рейе надул умеющего ценить откровенность главного врача: не видно никакой девушки, никто не ожидает его, разве только трамвай.

Ребятишки играют около скамеек, на которых сидят женщины, разговаривающие о продовольственных затруднениях. Собачонка, разделяющая горькую судьбу своих хозяев и надеющаяся, несмотря на мясопустный день, выпросить хоть какую-нибудь обглоданную косточку, стоя у подъезда больницы, глядит на каждого выходящего глазами, в которых ясно можно прочесть немой вопрос: «Нет ли у вас с собой чего-нибудь съедобного?» Рейе, отлично понимающий язык зверей, гладит собаку и разъясняет ей порядки, царящие в этом здании. Он с серьезным видом советует ей на будущее время поддерживать знакомство с больными из особого отделения. Собака несомненно понимает его и печально поникает головой.

Рейе идет дальше, пересекает поляну, на которой незадолго до начала «великой эпохи» были заложены новые постройки, идет мимо огородов, на которых растет отечественная репа, та самая репа, из которой при желании можно изготовить все, что, по мнению ответственного руководителя госпиталя, нужно для питания человека... Рейе, несмотря ни на что, с жадностью впитывает в себя формы и краски, словно чувствуя, как мало времени осталось у него, чтоб насладиться ими. Он идет, топает ногами,

шагает и не может отделаться от ощущения, что кости его как-то плохо держатся на своих шарнирах. Но он побеждает свою слабость мыслями, столь же враждебными болезни, тоске и смерти, сколь майор — пребыванию на фронте... Он с каждым вздохом втягивает в себя больше воздуха, чем способен потребить, он опьяняется красками и прислушивается к пению птиц...

Рейе напрягает все силы, с трудом держится на ногах. Он добирается наконец до предместья, где фасады домов стали жертвой преждевременного стремления к обновлению. Составные части осыпающейся, сырой штукатурки, представляющие собой, подобно «Эйо», смесь человеческого остроумия и героизма, демонстрируют свою полную практическую непригодность; тусклые оконные стекла напоминают о мутной похлебке с плавающими в ней крупинками или солодовый кофе без добавления «Квиеты». За ними в неустанном напряжении тянется жалкая жизнь, изо всех сил стремящаяся итти в ногу с блестящей эпохой.

— Вот здесь живут они, — думает Рейе, — здесь живут товарищи и братья, которых тоска по зеркальному шкафу, ореховой мебели и креслу с бархатными кистями ослепила и заставила забыть о свободе. Кто выведет их из заколдованного круга желаний, превращающих их в рабов? Кто раскроет перед ними засыпанные мусором источники их сил? Кто введет потоки этих сил в чистое и прочное русло, железным законом скрепит слишком вялые или слишком бурные порывы их? Кто в основу тяжкого долга положит вечное право, очистит их помыслы от всякого тепленького хлама, накопившегося в их душах в течение тысячелетнего подчинения тирании мещанства и мелкобуржуазных идеалов?.. Когда же они перестанут подпевать тем, чей скудный хлеб они едят? Когда перестанут убивать любовь ради служения государственной системе, сгоняющей в кучу детей и ведущей их в качестве бессловесной массы на «героическую» смерть? Когда же будут они владеть той землей, ради которой якобы они проливают свою кровь?..

Он дошел до того места, где начиналась шумная бездна города. Черные и неподвижные высятся здания казарм.

Вдоль стен их до дверей мясных лавок тянутся бесконечные очереди.

Рейе кажется, что он с каждым шагом все глубже спускается в ад этой героической жизни... В течение восьми месяцев он был оторван от этих полных суеты и страданий будней, где стремление к участию в жизни сводится к жадной погоне за куском мороженого мяса, а суеверие восполняет то, чего еще не способна дать мысль.

Женщины в очереди шумно спорят. Жандарм старательно выстраивает их вдоль фасада дома. Автомобили, организмы которых также с трудом справляются с негодной, состоящей из суррогатов пищей, движутся по улице, хрипя и спотыкаясь, словно отравленные газом ландштурмисты. Все шумы улицы звучат в ушах Рейе, как крики о помощи, крики погибающих. Откуда-то доносится пение. В конце улицы из-за угла выползает серый червь... Трапп... трапп... металлический звон... стук... со всех сторон сбегаются ребятишки... трапп... трапп... последние резервы императорской армии, самое младшее поколение солдат, приближаются ровными рядами и словами веселой песни клянутся одержать победу над Францией и умереть смертью героев.

Чистые, полудетские голоса. Эта воинская часть состоит из мальчиков подростков. Самые меньшие, в последних взводах, семеня короткими ногами, стараются не отстать от передних. Каждый шаг под тяжестью звенящего снаряжения — мучительное страдание... и все же они поют... Рейе открывает входную дверь...

Медленно, с трудом поднимается он вверх по высокой лестнице, пока не добирается до небольшой дощатой двери, ведущей в мастерскую. Ветер сквозь открытое окно еще доносит обрывки героической песни...

Крыши пылают. Вечер алым сиянием заливает бесчисленные островерхие башни и стрельчатые крыши. Рейе входит в мастерскую.

Алым священным пламенем приветствует его опускающийся над городом вечер.

ПРОКЛАМАЦИЯ

социал-демократов пораженцев 1916 г. Цитировано по Шолохову — «Тихий Дон»

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Товарищи солдаты.

Два года длится проклятая война. Два года вы изнываете в траншеях, защищая чуждые вам интересы. Два года льется кровь рабочих и крестьян всех наций. Сотни тысяч убитых и искалеченных, сотни тысяч сирот и вдов — вот результаты этой бойни. За что вы воюете? Чьи интересы вы защищаете? Царское правительство поставило под огонь миллионы солдат для того, чтобы захватить новые земли и угнетать население этих земель так, как угнетаются порабощенные Польша и другие национальности. Мировые промышленники не поделят рынка, где они могли бы сбывать продукцию своих фабрик и заводов; не поделят барышей, — раздел производится вооруженной силой, — и вы, темные люди, в борьбе за их интересы идете на смерть, убиваете таких же тружеников, как и вы сами.

Довольно пролито братской крови. Опомнитесь, трудящиеся. Ваш враг не австрийский и немецкий солдат, такой же обманутый, как и вы, а собственный царь, собственный промышленник и помещик. Против них поверните ваши винтовки. Братайтесь с немецкими и австрийскими солдатами. Через проволочные заграждения, которыми, как зверей, отделили вас друг от друга, протяните друг другу руки. Вы — братья по труду, на руках ваших еще не зажили следы кровавых мозолей труда, делить вам нечего. Долой самодержавие! Долой империалистическую войну! Да здравствует ненарушимое единство трудящихся всего мира!»

ТИШКА-ВАХЛАК

Войтоловский. «По следам войны»

... Днем получено предписание двигаться безостановочно до Красника. Идем боковиной, крепко перетянув сапоги, чтобы они не остались в болоте. Грязь, просачиваясь сквозь платье, липнет к телу. От усталости еле дышим. Шагаем по скользким горбакам, ежеминутно рискуя скатиться в канаву, в которой жижи по горло. Раза два срываюсь, падаю, лечу с откоса. Руки исцарапаны в кровь.

Сейчас плетусь какой-то странной дорогой: под ногами шуршат большие твердые шары. Это — капустное поле.

Мы давно отбились от части. Идем небольшим отрядом: адъютант, два доктора, человек десять солдат, два писаря, трубач и фельдфебель. Часам к десяти вечера доплелись до копны пшеницы, под которой кучка пехотинцев развела костер.

Гремят пушки, вспыхивают огненными бороздами выстрелы с разных сторон. Греемся у костра и обмениваемся стратегическими соображениями.

— Быдто, слыхал я от ординарца, — за Сандомиром бой сильный идет, — объявляет пехотинец, посасывая цыгарку.

— Яво за Вислу прогнали, а теперь через Сан не пропускают.

— Ишь ты! — удивляется другой. — И ему деть себя некуда. Не перескочит.

— Как по-вашему, одолеем мы немцев? — спрашивает адъютант.

— Надо бы осилить! — неопределенно тянет щетинистый пехотинец.

— Только, вишь, орудиев у него много. Как почнет крыть шрапнелью, неба не видно.

— Чаво там орудия! — откликается кто-то новый. — На какие хитрости ни подымайся, а ничего против силы не сделаешь! Наша сила сермяжоая — земляным нутром тянет. Против нашей силы — терпения яво не хватит.

— Ну, это ты зря, — возражает щетинистый. — Немца соломинкой не осилишь. Яво-то разве так учат, как нас?.. Пущай там война, аль не война, немцы сызмальства до всего приучены, что да как. У них и одежа, и пища, и орудия другая. И ладится у них не по-нашему... Не, немец не провоюется.

— Значит, по твоему, проиграем мы войну? — допытывается адъютант. — И придется нам оторвать кусок России и немцам отдать?

— Ничем меня немец не обидел, — дипломатически уклоняется спорщик. — и воевать нам не за для ча.

Потом он медленно развязывает мешок, достает большой ломоть хлеба и отщипывает краюшку.

— Может и вам, ваше благородие, хлебца урезать? — обращается он добродушно к адъютанту.

— Давай!

Мигом вытаскиваются мешки, и пехотинцы угощают нас хлебом. Минут десять жуем и чавкаем. Некоторые выдергивают снопы из копны и тут же устраиваются под стогом. Гремят орудия, гулко раскалывая небо и выбрасывая потоки пламени. Издали клокочет шоссе железным лязгом. И вдруг из темноты появляется фигура солдата. На нем рваная шинель в накидку. Шапка лихо́ нахлобучена на голову — козырьком к затылку. Лицо бойкое, цыганское. Из-под шинели виден гриф мандолины. Забубенная головушка. Осмотрев нас всех, он остановил взгляд на адъютанте.

— Дозвольте, вашбродь, к вашему шалашу!

Из темноты выплывают еще три солдата, такие же рваные и без винтовок.

— Садись! Кто такие?

— Раненые. Из госпиталя. К своей части добираемся. Дивизии гренадерской, полка московского, — сыплет он театральным говорком.

— Где ранены?

— Под Травниками. Шесть ден друг из дружки сок пускали. Испила земля и ихней и нашей кровушки!

— Эх, — протяжно вздыхает кто-то, ворочаясь на снопах. — Хуже зверя облютел человек. На каждом кровь чужая засохла... И кто ее придумал эту войну? Ни врагу ни нам от нее ни проку, ни корысти!

Гренадер с мандолиной долго щурится на огонь, ухмыляется, показывая белые зубы, и бросает тоном привычного балагура:

— Чего, дядя, скарежишься? Война всем нужна.

— А какая в ней польза? Я в ево целюсь, он в меня целится. Как два разбойника. Вот и польза!

— А может и от разбойника польза? Про Тишку-разбойника слыхал?

— Валяй, валяй! — оживляются солдаты. — Сказывай про Тишку-разбойника!

— Вот... Едет раз мужичок. На возу клади сто пудов. И на хорошей бы лошади — ни тпру ни ну. А у мужичка лошаденка плохонькая и поклажа барская: с которой стороны чужую кладь ни поверни — все тяжело... Едет мужик с возом, мычит, кряхтит — помереть впору. А навстречу ему шестериком сам барин. Поравнялся с мужиком:

— Стой! — кричит барин. — Отчего у тебя, сукина сына, лошадь не везет?

И давай греметь и кастить.

Ан, глядь, — вырос из-за куста мужик, снял шапку, поклонился барину до земли и говорит:

— Пожалуйста, барин, ваше благородие, окажи мне такую милость мужику-дураку, подари мне левую пристяжку!

Как взъерепенится, загремит барин:

— Как ты смеешь, дурак ты этакий, мне говорить такое? Да я тебя!..

— Уж сделай милость, барин, — пристает мужик, — подари мужику левую пристяжную!

Еще пуще разоряется барин:

— Да как ты смеешь? Да знаешь ты, что я с тобой сделаю?! Да кто ты такой?!

— А осмелюсь вашей милости доложить, человек я простой да маленький, а прозываюсь я Тишка-вахлак.

Как услыхал барин, что перед ним Тишка-разбойник стоит, куда и прыть вся делась.

— А, — говорит, — здравствуй, Тишенька, бери лошадь, какая нравится. Пусть мужичок доедет с богом до дому; а я пятериком доберусь, лошади ничего не сделается... После только пусть назад приведет.

— Нет, уж, барин хороший, подари, пожалуйста, мужичку совсем лошадку. Не изволь, барин милостивый, отнимать лошадки у мужика! Не для себя прошу, прошу для твоего же здоровья!

— Изволь, Тиша, изволь. Я для тебя, Тишенька, и

совсем могу это сделать, могу совсем подарить! Изволь, изволь, миленький!

Припряг мужик к возу левую пристяжную, взмахнул кнутом и в полчаса до дому доехал. Да еще и после сколько на той барской лошади ездил...

— Мудреная сказка, — ухмыляются солдаты.

— Ай невдомек? — спрашивает рассказчик, лукаво поглядывая на адъютанта, и добавляет задорно:

— Может война-то и есть тот самый Тишка-разбойник, что от барской шестерки левую пристяжную мужику отдать хочет...

И польщенный успехом, гренадер ударяет рукой по мандолине и поет на мотив «барыни», с замысловатыми вывертами и коленцами:

Ты прощай, моя сторонка,
И зазнобушка и жонка!
Обнялся горячо —
И ружьишко на плечо,

Уж как нам такое счастье —
Служим мы в пехотной части!
Будь хучь ночью, будь хучь днем —
По болоту, пеши прем.

Только ляжем — невтерпеж:
Под сорочку лезет вошь.
Уж и гложет и сосет
Цельну ночку напролет.

Вечер поздно из лесочка
Герман бьет шрапнелью в точку.
Уж такой талан нам, братцы,
Просто некуды податься!

Хучь и влепят пулю в лоб,
Да с Егорьем ляжем в гроб.

— Веселый ты парень. На все руки мастер, — говорит адъютант.

— Рад стараться! — вскакивает солдат и кричит, весело паясничая: — Человечек я махонький, мужичонка плохонькой!..

— Так вот в кого ты целишься... в левую пристяжную!.. Ну, нам пора! — поднимается адъютант. И мы пускаемся в путь.

Издали долетает еще голос веселого гренадера.

— От этого ждать можно, — вкрадчиво произносит фельдфебель Гридин. — Этот научит!..

ЛИСТОВКА, НАЙДЕННАЯ В 1916 г. В ОКОПАХ, ЗАНЯТЫХ РАНЬШЕ 12-й РОТОЙ ЖИЗДРИНСКОГО ПОЛКА

«Братцы. Мы предостерегаем и передаем, чтобы Вы не ходили в наступление и если вы пайдете и наш полк прогонят на поддержку, то мы будем наступать на вас патрон для вас хватит. Нам нужен мир, а не войну и уже настало время канчать ее, долой войну нам нужен мир передайте всему вашему полку, что наступление не должно быть никакова и никогда, и если вас будут посылать в наступление, то стреляйте их всех.

«Братцы. Докаково времени мы будем вести войну, вот уже пять месяцев на третий год как мы и наши братья и отцы страдаем и убивают нас не за что. Братцы подумайте неужели мы кравожадные звери, чтобы убивать людей ведь это все напрасно. Настало время окончить вайну и это все в наших руках падумайте, как мы харашо вооружоны и мы молчим и теряем время.

«Братцы, ведь ясно, что все продано, а нас заставляют отбивать но не думайте что если будем мы наступать не для того чтобы побидить Германию, а для того чтобы пабить нас но мы должны кончать войну пусть тот воюет кто сумел продать, а нам нет никакова смысла и если вас будут посылать в наступление то неходите ни один пусть тот идет кто будет посылать вас. Помните если вы пайдете наступать и наш полк пригонют на поддержку к вам, то мы из вас не одного в живых не оставим вы будете наступать на немца, мы на вас и на ваше начальство, просим передать всему вашему полку.

«Преблываем с пачтением к вам 482-й Жиздринский пех. полк.

Из книги «Царская армия во время Империалистической войны» Ахун и Петров, Изд-во Политкаторжан.

КОМЕНДАНТСКАЯ ЛАВОЧКА

Из романа Арнольда Цвейга — «Трагедия унтер-офицера Гриши»

Около четверти двенадцатого улицы Мервинска стали походить на улицы военного лагеря. Повсюду виднелись фигуры одетых в серую форму людей, тяжело ступавших своими сапогами и башмаками на шнурках. Все торговые

заведения открывались между 11 и 2, и через какие-нибудь четверть часа комендантская лавка была набита народом до отказа. Во всех комнатах уже висели под потолком облака табачного дыма, помещение наполнилось всевозможными запахами, восклицаниями, смехом, а в наиболее укромных уголках организовались партии в скат. За прилавком, как священнослужитель, продающий средства для спасения души, орудовал с бутылками пива сержант Гальбшейд. При свете дождливого дня, сквозь голубые облака табачного дыма, под сводчатым потолком виднеется на одной стене портрет кайзера, а на противоположной — Гинденбурга. Они смотрят на солдат, которые сидят за столами на табуретках или просто на лавках вдоль стен, поставив кружки пива рядом с собой или на полу между ногами. В течение последних десяти дней все закусочные и пивные кишат солдатами прибывающих войск всех родов оружия. Они приходят с юга и востока, и все они знают и говорят о том, что русские больше не хотят воевать. Однако, среди солдат ходит масса слухов относительно французской и японской артиллерии, которая будто бы стреляет по разбегающимся русским войскам, в то время как со стороны фронта на них сыплются германские и австрийские гранаты.

— Н-да, — произносит один артиллерийский унтер-офицер. — А ты думаешь, мы не будем жарить по нашей собственной пехоте, если прикажут? И что там понадобилось этим французам и японцам? Во всяком случае, кто хочет остаться в живых, тот подчиняется. И так будет до тех пор, пока никого из подчиненных не останется в живых.

Молодой солдат из пулеметной команды, который и принес новость артиллеристу, охотно с ним соглашается:

— Вы и по нас будете жарить, как по инфантерии. Сколько раз вы это проделывали просто так, по оплошности. С нами они могут позволять себе такие вещи, — безнадежным тоном продолжает он. — На каждый приказ, направленный против наших же товарищей, у нас найдется по два унтер-офицера и по десять дураков, которые бу-

дут следить за его исполнением. А война еще так долго протянется...

К собеседникам подходит длинный рыжебородый унтер-офицер в поношенной форме: видно, что он недавно еще был в окопах. Шапка у него на затылке, между пальцами сигара, сам навеселе. Он несколько раз вызывающе обводит глазами всех: и игроков, и карты, и любителей пива и тех двух солдат, которые среди гама и шума заняты писанием открыток на родину. То, что выделяет стоящего унтер-офицера среди остальных, это железный крест на его мундире — явление достаточно редкое среди нижних чинов.

— Не говори худого про дождь, — сварливо обращается он со своим фрисландским акцентом, к одному из спорящих о погоде артиллеристов. — Дождь нам нужен во что бы то ни стало. В траншеях и окопах он поддерживает «настроение». В хорошую погоду, скажу я тебе, военным действиям не бывать! А если идет дождь, камрад, то солдаты, по крайней мере, приходят в себя и уж тогда не молчат! — Вслед за этими словами, он осипшим от табаку басом, начинает петь:

Жирный пес у генерала — гик-гак!..

Солдаты, стоявшие кучей у прилавка, разражаются громким смехом. С виду они похожи на самого певца, вероятно, даже одной с ним части. Все они, пехотинцы, т. е. как раз те, кто выдерживал на своих плечах всю тяжесть войны.

— Походную песню! — орут они. — Давай походную песню, Герман!

Ефрейтор взволнованно спрашивает, не сошли ли они все с ума: петь эту песню здесь, под носом у штаба! Им должно быть хочется в карцер.

Унтер-офицер называет его трусом. — Это наша песня, и это знает каждый офицер в полку! Ну, товарищи, все — хором припев!

И сам громко начинает:

Жирный пес у генерала, гик-гак,
А для нас и брюквы мало, хик-хак!
С треском глушит пес котлету, гик-гак,
А об нас и нужды нету, хик-хак.

За ним несколько боязливо вступает хор:

Эх, да марш вперед, марш вперед!
Ю-фи-фа-ле-рот!
Эх, да марш вперед, марш вперед!
Ю-фи-фа-ле-рот!

В отпуску мужик гуляет — фик-фак,
Отпусков солдат не знает, цик-цак,
Спит на досках круглый год, фик-фак,
А подмерзнет — прет в поход, цик-цак!

И-эх, да марш вперед, марш вперед!
Ю-фи-фа-ле-рот!

Припев, разносящийся от прилавка по всему помещению, звучит теперь сильнее. Присутствующие, кто сидит, как остолбенелый, кто вскочил с места и стоит бледный, как бумага, кто просто боязливо опустил голову. Бешеная ярость овладевает солдатами. Теперь уже поет не только один краснобородый с горящими глазами унтерофицер, а и все пехотинцы, у которых круглые погоны.

Сдох солдат — напишут акт, пик-пак,
Разве мало там писак, шник-шнак?
Мародерам числа нет, пик-пак,
Вместо ж армии — скелет, шник-шнак!

Эх, да марш вперед, марш вперед!

гремит теперь по всему помещению. За исключением двух комендантских писцов, бывших завсегдатаями закусочной, здесь нет ни одного «штабного жеребца», который не был бы захвачен обаянием этой круговой песни:

Ю-фи-фа-ле-рот!

Солдаты неистовствуют так, что дрожат оконные стекла и, вместе с последним словом припева, весь серый от испарений воздух комнаты наполняется криками и ликованием. Солдаты счастливы тем, что они отвели душу.

Сержант Гальбшейд, стоящий у своего доходного места за прилавком, все время оставался спиной к своим гостям: если выйдут какие-нибудь неприятности, то он лично не мог бы точно вспомнить лица ни одного из певцов. Что касается рыжебородого унтера с железным крестом, то... нет, он определенно помнит, что его не было в воскре-

сенье между посетителями. Преисполненный беззаботности, он с довольным видом поворачивается и — не будь в нем заложено хладнокровия настоящего тюрингца, — на этот раз он действительно испугался бы. Прямо перед его носом стоит фигура в кавалерийской фуражке на голове, с лиловыми обшлагами и воротником на костюме и с маленьким серебряным крестом на шее. Это — полковой священник.

Он вошел в момент наибольшего шума, не замеченный никем, и стоит теперь, приветливо улыбаясь и хваля пехотинцев за бодрость их духа. Лишь бы они были храбры, — остальное все хорошо!

— Радостно видеть повсюду такой воинственный дух! А как дальше поется ваша песенка?

Унтер, также приветливо ухмыляясь, отвечает, что, к сожалению, песенка уже вся. Украшенное окладистой бородой, но молодое лицо пастора выражает сожаление, что он слышал ее не всю, Затем он слегка поворачивается к Гальбшейду: он посылал тут своего денщика за сигарами, но, очевидно, вышло какое-то недоразумение. Он хотел приобрести небольшой ящик сигар. — Марка называется, — он близорукими глазами смотрит в свою записную книжку, — Вальдвебен, по шести пфеннигов за сигару.

При других обстоятельствах Гальбшейд, наверное, подмигнул бы г-ну пастору, вышел бы с ним, несмотря на дождь, за дверь, или попросил бы его прийти в более удобное время. Однако сейчас в воздухе уже чувствовались другие песни, на Гальбшейда смотрели все эти изнуренные, костлявые физиономии окопных червей. Они обменивались мнениями об этом, одетом в прекрасный костюм, блюстителе душ, который намеревался сделать себе запас сигар. Успокоительным тоном опытного трактирщика Гальбшейд говорит:—Конечно, г-н пастор его извинит, но он должен продавать эти сигары только рядовым и не больше шести штук в день. Что касается г-на пастора, то он, конечно, найдет себе сигары в маркитантской лавке или в офицерском собрании.

Покупатель слегка краснеет: в офицерском собрании он не найдет себе сигар именно этой марки. Кроме того, он сам, так сказать, рядовой ..

Солдаты, которые прислушиваются к разговору, только тактично улыбаются. Они не слишком скалят зубы, не хохочут во всю глотку, и господь бог благословляет их за это. Гальбшейд кивает им головой, как бы заверяя в том, что он-то уж знает свое дело...

«Нас не должна обманывать теперешняя гробовая тишина в Европе. Европа чревата революцией. Чудовищные ужасы империалистической войны, муки дороговизны повсюду порождают революционное настроение, и господствующие классы — буржуазия и их приказчики — правительства, все больше и больше попадают в тупик, из которого без величайших потрясений они вообще не могут найти выхода».

В. Ленин — Собрание сочинен., т. 13, стр. 357.

ГЕНЕРАЛ

Из романа Бернгарда Келлермана «9 ноября»

Слышишь?

Орудия гремят.

Они изодрали внутренности земли. День и ночь облитые потом тела роются в мрачных шахтах. В их глубинах, не умолкая, во всех частях света, звенят вагонетки. Доменные печи изрыгают огонь на континент, потоки жидкого металла выливаются в формы: орудия, гранаты...

Они раздирают свои мозги; инженеры и химики не спят больше: все новые машины, все новые взрывчатые вещества и газы, все страшнее... Сотни и миллионы думают только об уничтожении, вынашивают смерть. Народы земли стали народами-убийцами.

День и ночь рассекают винты пароходов морские волны... День и ночь мчатся по Европе поезда. — вперед! Коле-

блется море и дрожит земля. Люди, лошади, скот, леса — блага земли, сокровища мира. У всех теперь одна цель.

Туда!

Туда, где люди, лошади, скот, леса, блага земли, сокровища мира превращаются в прах, — туда!

Реки окрасились кровью, по морю носятся острова трупов: Франция превращается в пустыню. Германия — в кладбище, весь мир — в лазарет.

Вперед, солдаты! Теперь должно решиться!.. Пушки решат все проблемы!..

Серый автомобиль несется по раскаленным улицам Берлина. Заседания, совещания... Швертфегер вытирает пот с грязного лица. И он лишился отпуска, но ведь он был всего лишь шофером и мог только на коленях благодарить бога, что ему не надо отправляться туда, где разверзаются дороги, изрыгая огонь.

Серый автомобиль мчался по Унтерденлинден. Устало полузакрыв глаза, смотрел генерал на улицу и зевал.

Вдруг по дорожке для верховых несется всадник, пешеходы как по команде останавливаются и глазеют...

Одним движением выпрямился генерал...

Неслыханно!

Среди белого дня на Унтерденлинден...

Никогда не мог он допустить ничего подобного...

Несколько молодых парней и девушек, может быть, около сотни, бежали по улице и кричали. Струйка людей мчится по Унтерденлинден. Но разве слыханная вещь кричать на Унтерденлинден, обращать на себя внимание всех?

Генерал беспокойно задвигался на месте и гневно выглянул в окно. Кулаки парней и девушек протянулись к нему и затряслись угрожающе. Растерявшись, откинул генерал голову. Что случилось?.. что?.. Все они кричали одно и то же слово, все одно и то же... он не понимал, он боялся верить, что они кричат это слово... это невозможно!..

Но наверху около замка он вдруг стал серьезен. Цепь городовых преградила им дорогу...Молодой парень пытается... Но сабля блестит в воздухе... вот он лежит...

— Бейте их! — закричал генерал. Лицо его было багрово...

А правительство? Генерал свирепо засмеялся, за согнутой спиной Швертфегера.

Правительство?!

Оно спит...

Зеваки на тротуарах двинулись дальше. Струйка людей растеклась. Ничего не произошло особенного...

Серый автомобиль несся дальше: заседания, совещания... Резервы. Подкрепления. Продовольствие. Снабжение. Лошади. Заседание за заседанием...

Вперед, солдаты!..

Кипит сражение, грохочут орудия, сражайтесь, умирайте!..

Дивизионный хмурит лоб у телефона. Командир бледнеет с полевым биноклем у глаз. Наступление на правом фланге приостановилось. Вперед, артиллерия! Уж коли на то пошло — собственный огонь погонит вас вперед, подождите!

Сражайтесь, умирайте! Глаза всего мира обращены на вас. Колеблется биржа, падают бумаги... Ведь вы же не станете... возлюбленные герои! Да, герои! Три марки, три франка, три шиллинга, три доллара в день. Ордена, отличия, триумфальные арки, протезы... вы ж знаете наши тарифы? Вы же не... Калий, уголь, колонии...

Стучит биржевой телеграф день и ночь, он уже волнуется. Где-то, что-то рассыпалось, что-то трещит! Он стучит, ах, это ужасное возбужденное тиканье! Вы его не слышите среди пушечного грома! Не слышите, как биржи Берлина, Парижа, Рима, Нью-Йорка... Вот уже один банкрот пустил себе пулю в лоб... а вы колеблетесь!

Императоры и короли грезят торжественным въездом в ликующие столицы. Президенты мечтают о той минуте, когда они высоко подымут свои цилиндры среди восторженных рукоплесканий толпы.

Императрица... собственноручно... супруга президента, собственноручно... прикрепляет жестяную монетку на вашей простреленной груди.

Вперед, дорогие, прекрасные, несравненные!..

Старцы, направляющие мировую историю, покашливают за обитыми дверьми в свои холодные восковые кулачки. Они сидят у длинных полированных столов, с розоватыми детскими щечками, нетерпеливо барабанят ногтями... безукоризненные секретари скользят на цыпочках по блестящему паркету... Старцы царапают перьями, бросают повелительные взгляды... и каждое их слово означает смерть, каждый росчерк пера, каждая улыбка... смерть, смерть... а они живут...

Месяцы, годы мерцает до самого неба пыльная туча над побоищем. Дождь черной кровью падает с неба, апокалипсические всадники несутся над облаками и опрокидывают свои чаши на Европу. Вас взвесили на весах, но вы оказались слишком легкими. Огненные письмена снарядов пылают на потемневшем небе.

А в это время старцы собрались в кабинете на новое торжественное заседание.

Резервы!.. Руки генерала дрожат. Взволнованно кидает он телеграмму обратно на письменный стол. Лихорадочный румянец покрывает его лицо.

Еще два года тому назад подал он докладную записку и только недавно опять вернулся к этой мысли. Он подхватил предложение одной патриотки доставить армии два миллиона женщин для несения караулов, для этапов, для канцелярий. Два миллиона, десять миллионов, если понадобится. Из сильных, крепких женщин можно образовать и боевые батальоны, что за вопрос... Женщины дали бы прекрасный материал. (Генерал привык говорить — «материал», как все военные). Женщины тоже, вне всякого сомнения, кинули бы вдохновенно пушкам свое тело.

Его записка... покрывалась где-нибудь пылью, усеянная критическими заметками на полях. На его совет не обратили внимания, как вообще принято не обращать внимания на советы. Они сами все знали, знали все лучше других!..

— Я звоню уже второй раз, а вы все не идете! — сказал генерал Вейсбаху, нахмурив лоб.

— Был только один звонок, господин генерал, — заверил его адъютант.

Генерал встает... Глаза его расширились.

— Ах так! И вы тоже начинаете возражать!

Адъютант молчит и стоит тихо. Лицо его бледно. Генерал окидывает его взглядом.

— Ну, обиделись, Вейсбах, — говорит он смягчаясь. — Не хватает только, чтобы и вы обиделись. — Взгляд адъютанта сияет прощением.

С дрожью в руках ходит генерал по комнате, потом останавливается перед Вейсбахом и говорит спокойно:

— Созовите сейчас же по телеграфу всех офицеров из отпусков. Мы должны наши усилия... у д в о и т ь...— кричит он.

Резервы. Точно не всему бывают границы. И какой тон приняли они в последнее время. Все, что еще не валится с ног, уже отправлено. Лазареты выметены начисто. Лихорадящие подняты с постели. С операционных столов стаскивали людей, — без всякой жалости...

А им еще подавай резервы.

Не было больше никаких резервов, вот — правда!

Затрещал телефон...

И в то же мгновение на дворе стало непроглядно темно, и раскат грома пронесся над морем берлинских крыш.

Слава богу!.. А то жара становилась невыносимой...

РЕФОРМАЦИЯ

«Да здравствует война» Бруно Фогеля

Семь раз в течение тех двух памятных ночей исходящие из штаба дивизии приказы, словно удары кнута, гнали батальон в атаку.

Семь раз атака оказывалась отбитой неприятельским огнем.

Полк выступил на передовые позиции 14 ноября. В 3-м батальоне было налицо 394 человека.

7 декабря полк в первый раз производил атаку неприятельских позиций. В 3-м батальоне осталось 283 человека.

8-го, на заре, в 1 ч. 26 м., была произведена пятая за одну и ту же ночь атака неприятельских позиций. В 3-м батальоне осталось 191 человек.

Медленно, бесконечно медленно угасал следующий день.

В сумерки скончался ландштурмист Пеннек из 11-й роты. Санитары не смогли унести его в тыл, так как стоило только к нему прикоснуться, как он разражался безумно-мучительными воплями, словно свинья, которую режут.

Поэтому его оставили лежать в окопе, и он лежа спокойно, казалось, не испытывал страданий.

Под его головой постепенно образовалась большая лужа крови.

Он рассказывал:

— В свое время я был под Верденом.

«Они все снова и снова гнали нас в бой.

«Снова и снова...

«Люди были словно сплошной, беззвучный и безнадежный плач.

«Каждое утро, когда всходило солнце, оказывалось, что за ночь принесены в жертву многие тысячи.

«Принесены в жертву без всякой пользы...

«Однажды, утром мы увидели перед своими окопами большой крест. К нему был прибит труп германского солдата.

«В течение целого дня возвышался над Верденом этот крест.

«В поле, залитом кровью и освещенном ярким солнцем...

«Никто из видевших его никогда не забудет этого зрелища.

«Ночью нам удалось сбить его при помощи ручных гранат...»

Ландштурмист Пеннек замолк, но, погодя немного, снова заговорил.

— Это случилось под Верденом. Снова и снова...

Когда начало смеркаться — он умер.

В начале ночи был прочитан приказ, исходивший из штаба дивизии: «... Я не потерплю трусости и неисполнения своего долга! Полк произведет атаку ровно в 9 ч. 40 м., неприятельские расположения должны быть захвачены во что бы то ни стало!»

Командир полка произнес сквозь зубы: — Наш дивизионный повидимому страстно жаждет получить орден . . . . .

В половине двенадцатого мы произвели новую атаку.

Это было ужасно, но кончилось быстро — без десяти двенадцать.

Не задолго до восхода солнца вернулся полковой и батальонный командиры, ездившие к командующему дивизией.

Днем из рук в руки во всем батальоне передавался газетный лист. К этому времени нас оставалось 23 человека.

Несколько строк было подчеркнуто синим карандашом и сбоку было приписано:

«Эти строки прошлой ночью священник штаба дивизии переводил для развлечения двух французских девок в блиндаже штаба дивизии. Все присутствующие пили при этом вино и ликер, и женщины ликовали и кричали: «Vive la guerre! [1]. Командующий дивизией и офицеры его штаба весело смеялись, глядя на них. Священник, по моей просьбе, подарил мне этот листок... Мой батальон в эту ночь дважды ходил в атаку...

«Батальонный командир, капитан X».

Содержание подчеркнутых строк:

«Я не могу равнодушно слушать все эти жалобные причитания, ахи и охи по поводу войны. Война для Германии не горе, а, наоборот, счастье! Слава тебе господи, что возгорелась война! Она одна только способна спасти наш народ, если это вообще еще возможно, как мне хочется верить. Война это — гигантский операционный нож, при

[1] Да здравствует война!

помощи которого великий исцелитель народов вырезает самый зловредный и ядовитый гнойник. И слава тебе господи, что еще не может быть заключен мир! Раны скоро бы зажили и зло стало бы еще большим, чем было раньше».

Эта статья была написана пастором и напечатана в ортодоксальном церковном еженедельнике: «Реформация».

«Реформация» переходила из рук в руки по всему батальону. Нас оставалось 23 человека.

Вечером полк отошел на отдых. Батальон мерно шагал по дороге. Он состоял из 19 человек.

Перед блиндажем штаба дивизии полк остановился. Наш батальонный командир спустился вниз чтобы подать рапорт.

У входа в блиндаж стоял караул. Из отверстия высовывающейся из насыпи железной печной трубы веяло теплом. В блиндаже, повидимому, было жарко натоплено. Изредка вместе с дымом вырывались обрывки вальса, который наигрывал граммофон.

— Этот блиндаж имеет в глубину больше 6 метров, — сказал часовой. — Его не пробьет никакой снаряд! У них, там внизу, вино, водка, да еще и бабами они запаслись, француженками... Они там же внизу даже мочатся и гадят, а денщиков заставляют грязь выносить... А наш брат?..

— «Я не потерплю трусости и невыполнения долга», — произнес кто-то из нашего батальона.

Из блиндажа вышел наш капитан.

— Сегодня у них внизу целых четыре бабы... — произнес он сквозь зубы.

Чей-то голос из рядов: «Война это гигантский операционный нож... вырезает ядовитый гнойник»...

Словно хихикая, посыпались в отверстие трубы ручные гранаты 3-го батальона. Сначала еще продолжал доноситься визг и голос тенора, передаваемый граммофоном. «Да, это любят все девицы!» Затем послышался глухой гул и треск карающего взрыва... Там, внизу, на глубине шести метров под землей, среди аксельбантов, вина и продажной женской плоти...

Полное горечи ликование: «Праздник реформации!..»
Впоследствии было высказано предположение, что несчастье произошло от самовоспламенения ручных гранат. Никто, никогда не узнал, кто из товарищей участвовал в этом деле...

ПИСЬМО РУССКОГО СОЛДАТА С ФРОНТА

В одном письме солдата-крестьянина в начале 1916 года дается очень яркая характеристика преступности и бессмысленности войны, ведущейся в интересах господствующих классов. Здесь стихийное стремление к миру находит свое четкое обоснование.

«Я чувствую, что вам очень охота узнать про войну, я бы вам все прописал, что я видал и слыхал, какие идут несправедливости. Ведь очень много есть людей, что с удовольствием желают, чтобы война продолжалась дольше, чтобы награбить больше денег, а несметное число людей должны портить свою кровь, терять здоровье, оставлять жизнь, где-то в поле. И также после их остаются беспризорные дети, человека забирают под страшный гнет, первым долом ему внушают, что ты будешь защищать царя, отечество и родину, а что такое родина, человек не знает. Хотя он и знает, но не имеет никакой теплоты в душе для защиты. Родиной мы считаем ту, где бываем ублаготворены. У меня тоже на действительной родине где-то есть 60 саж. земли, которую я не засеваю и с которой мне и на год не хватило бы прокормиться, и отчего где-то жил далеко и зарабатывал на чужой работе себе кусок хлеба. А если не наша работа собственная, тогда в таком случае пусть бы она была немецкая. Нам за свой труд вознаграждение получить безразлично, с кого угодно. Уже все из веры вышли, что у нас не война, а просто только истребление народа. А если считали бы войной и, как оправдываются, что войну начала не Россия, тогда зачем верить немцам и лезть на врага, а от него нужно только защищаться, а не чуть ли было лезть в ненужные места, как, например, Карпаты, в Пруссию, на природ-

ные горы, Дарданеллы, а там погибло миллионы людей. Зачем нам наступление и атаки? Благодаря дурного расчета немец забрал весь Западный край и гнал, как сумасшедший. У нас всего и нехватило, бежали без штанов 1000 верст.

«В газетах сообщают, что оружие не будет сложено до тех пор, пока не будет сломлен враг, а голыми руками сломать нельзя. Из нас никто не желает, что забран германцами, а только каждый желает мира. Нам бесполезно, что взяли что-либо у неприятеля, все равно будет все казенное и помещиков. Как мы отступали, проезжали массу имений по несколько квадратных верст, а одно имение некоторого графа Бржицкого — мы ехали через него полторы недели, считая по 20 верст в день. Вот этим людям есть и родина и отечество».

Текст письма приводим с сохранением орфографических особенностей. Автор письма — крестьянин Федор Беляков, ефрейтор 7-го Сибирского саперного батальона. Письмо написано им в начале 1916 года. Суд признал Белякова виновным в том, что он высказывал в письме суждения, которые «могли возбудить к неповиновению закону, возлагающему на каждого русского подданного обязанность защиты престола и родины, и к вражде между крестьянским и дворянским сословиями», и присудил его к отдаче в дисциплинарный батальон на два года.

Ахун и Петров «Царская армия в годы империалистической войны».

В ВОЕННОЙ ТЮРЬМЕ

Из романа «Жертва» Альберта Даудистеля

В начале декабря 1915 года Генриха под конвоем двух унтер-офицеров препроводили в военную тюрьму в Кельне на Рейне. Сквозь шум и блеск города, сверкающего вечерними огнями, волокла военная бестия свою добычу к себе в берлогу.

Тяжелые ворота крепости захлопнулись за Генрихом. Небо без перерыва извергало потоки дождя.

Уже в течение целого часа стоял Генрих на крепостном дворе перед приемной конторой. Внезапно раздался грозный крик полковника: — Где же этот мерзавец? — И в то время как звон колоколов знаменитого собора плавно разливался над городом, дежурный офицер с наглой усмешкой произнес: — Ну-ка, дружочек! Вот ключ от здешних ворот. Запомните: либо вы подчинитесь беспрекословно, либо... вы до конца своих дней не выйдете за пределы этих стен! Поняли? — И затем, наклонившись слегка вперед, он прошипел: — Лечь!.. Встать! Вон туда! Марш — марш!.. Назад! Марш — марш! Безумные приказы швыряли Генриха взад и вперед по липкой грязи двора, пока он, обессилев, не остался лежать на земле. Голодного, усталого, промокшего до костей, Генриха после унизительного и бесстыдного обыска, распространившегося всюду, до заднего прохода включительно, загнали в камеру и бросили на грязную койку. Наконец ночь, темная ночь, сжалилась над несчастным. Измученный и потрясенный пережитым, погрузился он в забытье.

— Да никак этот лентяй еще дрыхнет?

Генрих в испуге вскочил со своей койки и замер в военной неподвижности.

— Парашу вынести! — Это были первые слова, которые Генрих услышал в рождественское утро.

В дверях камеры открылась створка «глазка», через который полагалось передавать пищу.

— Кофе! Сегодня выдача хлеба!.. — Створка захлопнулась, проглотив последние слова. Через несколько секунд раскрылась дверь камеры. Фельдфебель производил осмотр помещений.

— Сволочь! Да разве так застилают койку?.. — Сопровождавший фельдфебеля капрал вытащил клетчатое покрывало на середину камеры. — Постель складывается так ровно, что походит на сигарную коробку! Покрывало в середине, в ногах и у изголовья должно иметь в ширину ровно тридцать два квадратика! Ни на волос больше! — Фельдфебель обернулся к капралу: — Через десять минут вы мне доложите, что этот парень выполнил приказание!

Оба с полными злобы лицами вышли наконец из камеры. Генрих сжал руками виски. Пят...на...дцать...лет! — простонал он в дикой ярости сжимая кулаки. — Ничего! Революционные организации отомстят за меня!..

— Внимание!.. В церковь!.. Выходи...

Цак!.. Мгновенно, словно все одновременно хлопнули двери камер и сдвигаемые вместе каблуки.

Рождественская церковная служба. Хорал замер, поглощенный мертвой тишиной.

Заговорил полковник. Стены отбрасывали его слова, и они словно камни падали в испуганные трепещущие сердца.

— Горе тому из вас!.. — Слова медленно замирали среди поеживающихся от внутреннего озноба людей. Затем выступил священник, показал затравленным и алчущим военным арестантам чашу и вылакал ее сам до дна...

В камерах беспокойные шаги.

Бешеным вихрем носятся мысли в мозгу Генриха...

Наконец проходит рождество...

— Если вы не выполните своего урока, то провалитесь к чортовой матери в темную, на хлеб и на воду! — По приказанию фельдфебеля Генриху на руки сваливают целый ворох скроенных подштанников. — Кто вы по профессии?

— Моряк, господин фельдфебель!

— Ну, так вот: беритесь как следует за работу и поживей!

За длинным столом мастерской сидели военные арестанты с урчащими от голода желудками и шили.

— Внимание!

Головы дернулись кверху. Глаза уставились на надзирателя.

— Готовься выйти! — в одно мгновение откладываются в сторону шитье и иголки.

— Выходи!

Солдаты выстроились в два ряда во дворе крепости.

— По четыре человека рассчитай...сь... Повзводно направо кругом... марш!

Солдаты парадным маршем шагают к отхожему месту...

— Колени наружу... Назад! Марш — марш!

Бегом мчатся солдаты назад.

— Внимание! Если вы не будете выше подкидывать свои гнилые ходули, я буду вас таскать по грязи до тех пор, пока язык у вас не станет по земле волочиться.

— Отделение — м а р ш!

Солдаты удовлетворили свою нужду и снова уселись за работу.

Внезапно печальная тишина была прервана грозным окриком дежурного унтер-офицера.

— Ах, вы болван паршивый! Вы обязаны предварительно испросить разрешение на то, чтоб высморкаться!..

— Военный арестант Гельцель просит разрешения использовать носовой платок. — Генрих покраснел от стыда и гнева.

Не успел он высморкаться, как унтер-офицер скомандовал:

— Внимание! Приготовьсь к строевым занятиям!

Арестанты быстро почистились.

— Выходи!.. Рассчитайсь!.. Направо кругом — марш!

Десять часов утра...

— С т о й! Смирно.

Словно приросшие к земле стояли две тысячи военных арестантов во внутреннем дворе крепости. Унтер-офицеры рапортовали заменявшему офицера прапорщику о состоянии своих отделений.

Мороз щипал руки арестантов.

— Внимание! — Команду принимал на себя фельдфебель. — По росту стройся! М а р ш - м а р ш!

Солдаты засуетились, бегом отыскивая свое место. И вот они уже снова стоят, выстроившись как на параде.

— Назад по своим местам! Марш-марш! — Солдаты, напрягая последние свои силы бегом, несутся к своим прежним местам. Их подгоняет звериный рев унтер-офицеров.

— А с этими что приключилось? Не желают исполнять приказаний?

Несколько арестантов, мучительно охая, катались по холодной земле.

— Этот был засыпан обломками!
— Этот был ранен в голову!
— Этот был ранен в живот!
— У этого был нервный удар!
Так рапортовали унтер-офицеры.

— Убрать их туда, к стене! Пусть отдышатся! Калеки! Выходи из рядов! Марш-марш! Остальные, начинай снова! Бегом! Марш!

Дул ледяной восточный ветер.

Каменный двор крепости был полон глухого гула.

Около стены лежали жалобно стонущие и охающие. Впереди них выстроился ряд калек, опирающихся кто на костыль, кто на палку, а кто и на две палки. Все эти калеки, подчиняясь приказаниям, проделывали упражнения, состоящие из поворотов головы, сгибания или откидывания одной или обеих ног.

Люди со страшными, плохо зажившими рубцами, носившие в своем теле осколки снарядов и ручных гранат, с искаженными от боли лицами выполняли команду: «Приседай! Раз!.. Два... ва!..»

— Вниманье!.. По отделениям стройся!..

Две тысячи арестантов вздохнули с некоторым облегчением.

— Готовься к перекличке! Выходи с умывальным тазом, с суповой миской и парашей!.. Выходи!..

Несчастные, доведенные до отчаяния люди дрожали от холода, голода и напряжения.

Наконец: — Внимание! Готовься к обеду!

Вольно!..

С чувством облегчения бросились немецкие солдаты наверх к своим расположенным вдоль галлерей камерам.

— Горе тому, кто здесь решится поступить, как подобает мужчине...— прошептал Генрих.

Откинулась створка глазка:

— Обед!

Генрих с жадностью проглотил поллитра горячей похлебки и кусок хлеба.

— Подай миску!

Пробил тюремный колокол. Военные арестанты снова направились в мастерские.

Семь часов вечера. Еще поллитра водянистого супа. И наконец наступает ночь...

Историческая задача пролетариата во время войны заключается не в принятии участия в военных действиях, не в разжигании ненависти одного народа против другого, не в возбуждении патриотических чувств, а в создании сопротивления против войны, в пропаганде международной солидарности, в обострении классовой борьбы.

Карл Либкнехт

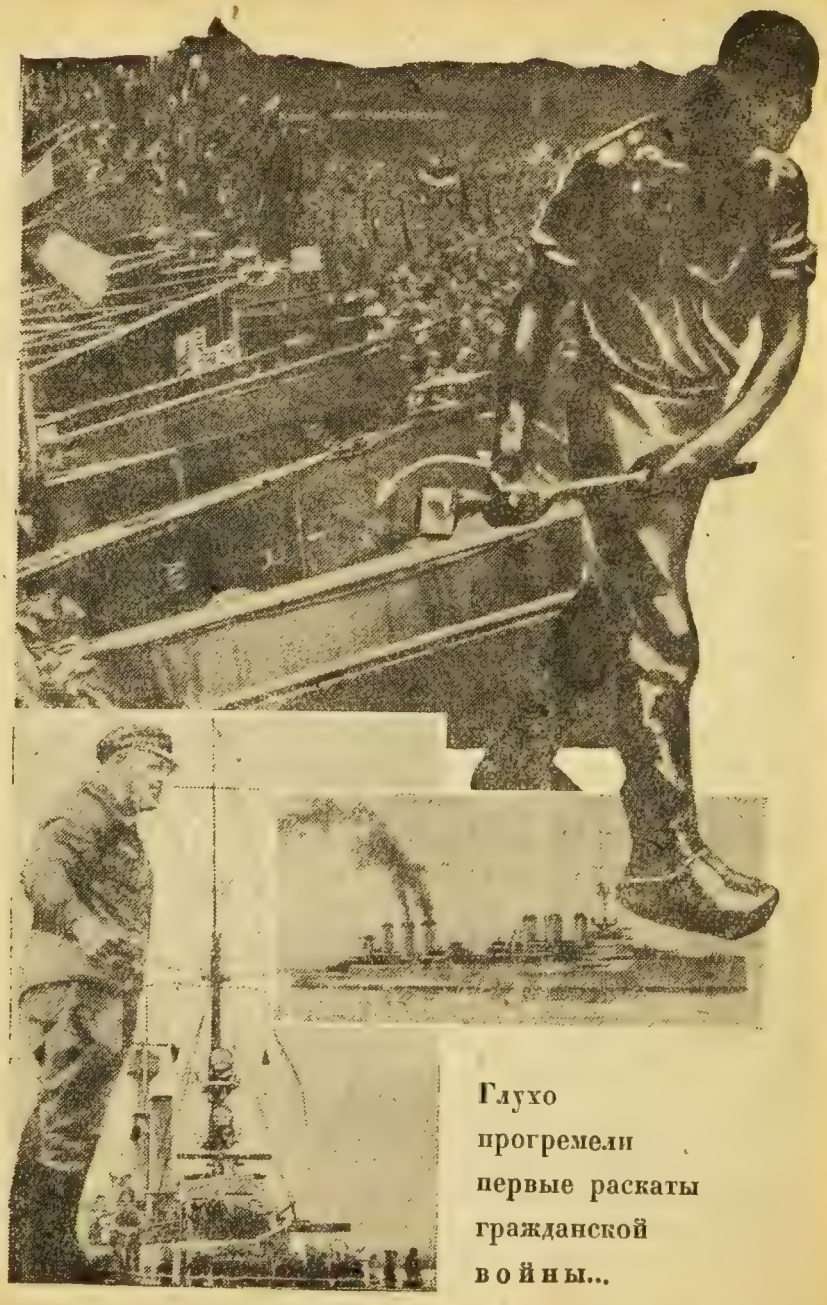
Цитируется по книге И. Бехера «Война»

ПЯТНИЦА 1 ФЕВРАЛЯ 1918 г.

«Красные матросы» Бруно Фрей

Чудесный, теплый солнечный день — предвестник грядущей весны. С «Георга» доносится пушечный выстрел. Одновременно с этим на флагмачту вздымается красный флаг. В ту же секунду раздается оглушительный рев всех сирен и паровых свистков на суше и на море. Почти на всех судах весь экипаж высыпает на палубу, баррикадируется и разражается громкими дружными возгласами:— Ура! Ура! Да здравствует мир. (По-итальянски: «Pace! Pace!» По-хорватски: «Mir! Mir!»). Все это было делом одном минуты. «Гэ» и «Георг» начали почти одновременно. Остальные суда присоединились постепенно, одно за другим. Одно за другим вздымались красные флаги. Стоявшие в Теодо суда «Монарх», «Циклон», «Император Макс», выкидывали красные флаги по мере того, как по морскому телеграфу устанавливалась связь между ними и вновь организованным Советом матросских депутатов.

То же самое произошло и на стоявшем в Порторозо судне «Кронпринц Рудольф». Через самое короткое время,



Глухо прогремели первые раскаты гражданской войны...

после подачи первого сигнала, к восстанию уже успели присоединиться все самые крупные военные суда, вооруженные 30,5″ и 24″-сантиметровыми орудиями, крейсера, миноносцы, истребители — всего около сорока боевых единиц, с экипажем свыше чем в 6000 человек.

ПОСЛЕДНИЙ РЕЙД ГЕРМАНСКОГО ФЛОТА

Из романа Теод. Пливьера «Кули германского императора»

28 октября 1918 г. Генерал-квартирмейстер Людендорф ушел в отставку. Новое гражданское правительство предложило Антанте перемирие. В Вильгельмсгафене и на рейде сконцентрирован весь германский большой флот. Флотилии траулеров отдан приказ выставливать мины, командирам эскадр вручены запечатанные боевые приказы. «Все морские боевые силы двинуть в наступление против английского флота!»

I, II, III, IV эскадры! Пары во всех котлах! Суда выходят в открытое море, черные тучи дыма поднимаются в беззвездное небо.

. . . . . .

Зачем выплыли в море траулеры? Почему весь флот стоит на Шиллигрейде? Зачем разводятся пары?

Что-то носится в воздухе!

Матросы и кочегары заглядывают из каземата в каземат, бегают по палубам, подслушивают у мостика, проникают под прикрытием темноты к укреплениям на корме!

В кают-компании шумно, господам офицерам стало так жарко, что они приказали открыть иллюминаторы; граммофон играет. Стреляют пробки шампанского. Стаканы. Гул голосов!

Граммофон вдруг перестает играть. Чей-то пинок ногой сбросил его на пол. Кто из офицеров еще может стоять на ногах, вскакивают. Официанты наполняют снова стаканы.

Матросы наверху, у иллюминаторов, заглядывают в кают-компанию. Забывают всякую осторожность, лица застыли в затаенном упорстве. Каждое произносимое внизу слово они впивают в себя, как губка.

Капитан-лейтенант Рудлов стоит с бокалом в руке.

— Свои последние две тысячи выстрелов мы выпустим в англичан — и погибнем со славой! Лучше конец с честью, чем жизнь в позоре!

— Лучше десять лет войны, чем такой мир!

— Адвокаты, комми-вояжеры, газетные борзописцы хотят у нас править!

— Плевать нам на правительство! Флот, главнокомандующий флота, имеет право самостоятельно вести переговоры!

Бледные лица, охрипшие от возбуждения голоса.

— «Тюринген» должен погибнуть! Господа! Дело нашей чести... Этот бокал...

— За смертный рейд германского флота!

— За последний рейд!

— За последние две тысячи выстрелов!

Матросы отрываются от иллюминаторов. Бегут по казематам, по матросским и кочегарским кубрикам, громко кричат все, что они слышали. Повсюду толпятся кучки. Спящих стаскивают с коек.

То же самое на «Гельголанде», на «Ост-Фрисланде», на «Ольденбурге»... На других кораблях тоже обратили внимание на приметы: на выплывающие в море траулеры, на команду «Пары во всех котлах!», на крики в офицерских кают-компаниях. Мотив военной шарманки: «Победа или смерть!» Тысячеголовые экипажи охвачены одним чувством: — Восстать! Положить конец! — Некоторые лежат как убитые, в своих полутемных казематах и выжидают.

. . . . . .

Крик прорезывает ночной воздух. Один человек кричит! Из сотен глоток откликается эхо, злоба и отчаяние! Верхняя палуба «Тюрингена» черна от матросов. В этот самый момент падает второй якорь; несколько человек спустили его. Цепь гремит в клюзе и снова останавли-

вает корабль. Сейчас на палубе уже и кочегары. Шуровщики гасят огни. Дым подымается разрозненными клубами, вперемешку с ними — белые клубы пара.

В толпе начинается движение. Матросы и кочегары бросаются по казематам, к передним батареям, закрепляют якорную цепь, запирают на ключ расположенный под матросским кубриком, кубрик старших нижних чинов, заколачивают крышку люка, перерубают шлюпочные канаты, — ни одной шлюпки нельзя спустить на воду. Офицеры, спускающиеся с мостика, встречаются градом первых попавшихся под руку предметов, — умывальных тазов, сапог, осколками котельной накипи. Мелькают руки, кулаки. Портрет «победителя под Скагерраком» разлетается вдребезги. Разбиваются лампы, раздаются винтовки, патроны. Подаются снаряды для средней артиллерии.

Казематы гремят:

— Пора быть миру!

— Свобода!

— Аристократы! Сорви-головы! Императорский флот! Долой! Долой!

Прожектор подает условные знаки Морзе! Крейсер «Гельголанд» отвечает:

— Держитесь, товарищи! Мы делаем у себя то же!

. . . . . .

Команда — не с мостика:

— Поднимайся с коек! Все на переднюю батарею!

Кто-то стоит уже там на ящике для цепных канатов.

— Курс норд-вест! Наступление! На столе у заведующего навигацией разложены карты восточного берега Англии. На помосте приготовлена уже краска для перекраски труб! Они надули нас как всегда! Четыре с половиной года войны! Теперь ей конец! Их карьера — к чорту! Вся их блестящая, мишурная бездельная жизнь! Они боятся будущего и предпочитают покончить самоубийством! Это наступление — самоубийство! Неужели и мы должны в нем тоже участвовать? Нет, нам еще дороги наши кости!

Корабль качает по океанским волнам. Полтысячи человек окружают переднюю батарею и ящик с цепными канатами. За бунт на корабле — смертная казнь! Вокруг одного из 15-сантиметровых орудий расположилась кучка матросов и кочегаров. Они пробуют песней заглушить сумятицу:

Мне б на родину хотелось...

Один оратор, другой, третий...

Перед собравшимися — первый лейтенант.

— Один только может говорить со мной, максимум — двое. Я — из Южной Германии, 18 лет во флоте. Жизнь дорога мне. В меня бросили чем-то. Это некрасиво, товарищи! Товарищи!

— Мошенники! Обманщики! Самоубийцы! Дай ему! Дай!

Электрические лампочки разбиваются. Передняя батарея в темноте. Топот ног. Свалка множества тел.

— Трусы проклятые, будет вам распевать!

— Шуровщики где? Шуровщики? В котельни! Огнетушители! Тащите огнетушители!

— Гасить прожектора! Свет гасить! Выкидывай огонь из топок!

С минуту освещают прожектора потоки людей, струящихся из-под бронепалуб и сгрудившихся на верхней палубе, — слоняющиеся с места на место кучки. Потом снопы лучей обегают небо — и гаснут.

Радио главнокомандующего флотом: «Во что бы то ни стало выполнить задание!»

Ответ: «Выполнить задание немыслимо!»

Гудит сирена. Палуба над трюмом. Проход в котельные. Кучки матросов. Спасающиеся бегством инженеры. Куски угля им в след. Старшие нижние чины защищают часовых. Колеса штурвалов. Рукоятки. Противовесы. Притащили огнетушители. Открывают дверцы топок. Колокол бьет тревогу, телефоны. Последняя попытка командования:

— Готовься к бою! Все на свои посты!

Обманный маневр не удается. В котельных поднимаются пары, заполняя все белым туманом. В зареве догорающих

огней клубки сцепившихся тел. Машинисты, унтера, оказываются слабее толпы.

Последний котел выходит из строя. Судно останавливается. Одно за другим! Одно судно за другим выбиваются из строя и становятся поперек волн. Плывущие без руля суда похожи на мертвые, вздувшиеся туши животных.

Морскому наступлению крышка...

. . . . . .

Лавиной катятся матросы и кочегары на корму. Никакого сопротивления. Офицерский состав забаррикадировался под бронепалубой. 1400 матросов и кочегаров. Над головами развевается военный флаг, черный на белом поле, в левом углу — Железный крест.

Императорский флаг спускается.

Поднимается красный флаг.

МАТРОСЫ ПРИШЛИ

Рассказ Г. Лорбера

Вечером восьмого ноября тысяча девятьсот восемнадцатого года они, стоя у входа товарной станции, раздавали листовки возвращавшимся домой рабочим, юношам и девушкам. Они смеялись, уверяя, что скоро произойдет такой взрыв, какого еще никогда не бывало. Вскоре слухо происходившем дошел до начальства, и господа директора позвонили по телефону полковнику, коменданту завода, изготовляющего снаряды. Всемогущий руководитель вооруженной силы сразу же понял в чем дело и немедленно выслал отряд старых солдат туда, где имели место «беспорядок и беззаконие». Унтер-офицер, поставленный во главе отряда, из собственных уст его высокородия получил приказание арестовать матросов всех до единого, а в случае попытки к побегу — беспощадно расстреливать. Унтер-офицер и его десять человек ландштурмистов

двинулись в путь. Солдаты не знали толком, что именно их ожидает на вокзале; унтер-офицер сказал им только, что там придется арестовать несколько бунтовщиков. Затем было приказано тщательно зарядить винтовки. Итак, дело повидимому предстояло серьезное. Но кто же были эти бунтовщики? В конце концов в головах этих немолодых уже людей возник вопрос: что такое, собственно говоря, «бунтовщик»?

— Бунтовщик — это человек, не признающий законов, человек, вредный для общественного порядка, — мысленно произнес ландштурмист Кульпе.

Ландштурмист Крах между тем пришел к заключению, что бунтовщик — несомненно человек со здравым смыслом, ибо он борется с недостатками существующего строя, следовательно обладает способностью яснее других видеть и чувствовать. Он не мог решить только одного: в чем заключаются недостатки существующего строя. И мысли его невольно коснулись войны, массового убийства, происходившего на фронте и в стране, голода и детской смертности, спекуляции и бесконечных несправедливостей. Но дальше мысли его не шли. Его охватило безумное бешенство, и вдруг он понял, что и сам он бунтовщик, настоящий бунтовщик!

Такие же мысли волновали и всех остальных его товарищей, за исключением Кульпе и унтер-офицера: и тот и другой были исполнены ненависти к тем, кого им предстояло арестовать.

Товарная станция была уже видна. Около входа волновалась большая толпа людей. То там, то сям мелькали синие матросские шапки без ленточек.

Увидев ландштурмистов, рабочие слегка отодвинулись в сторону. Настроение было необычайно напряженным. Матросы (их было шестнадцать человек) стояли полукругом перед огромной толпой, словно на сцене.

Но вот к ним подошел унтер-офицер и сказал, чтобы они не устраивали историй и немедленно сдали оружие. Матросы улыбаясь посмотрели на него и затем переглянулись между собой. К унтер-офицеру приблизился заго-

релый, темный как медь, юноша и ласково похлопал его по плечу.

— Полегче, полегче, братец. Сначала побеседуем немного, а потом поглядим, что будет...

Унтер-офицер на мгновение растерялся. Он беспомощно оглянулся по сторонам. Но затем, овладев собой, он отступил на шаг назад.

— Я предлагаю вам немедленно сдать оружие!—закричал он.

В ответ матросы громко рассмеялись.

Тогда маленький, но облеченный властью человек с бешенством заорал:

— Расступись! Немедленно расступись! Очистить улицу!— говорят вам.

Рабочие отошли в сторону. Некоторых из них охватил даже страх. Они поспешно отбежали прочь и, миновав шлагбаум, укрылись в стоявших на путях вагонах. Но матросы не сдвинулись с места и все продолжали смеяться. Они даже не взяли в руки винтовок и последние продолжали небрежно висеть у них за спиной. Даже руки их были засунуты в карманы. Они должно быть ясно ощущали превосходство своих сил. Казалось, они твердо решили справиться здесь без пуль и рассчитывали только на отношение к ним окружающей толпы.

Унтер-офицер был в бешенстве, но в то же время заметно начинал трусить. Он должен был что-нибудь предпринять. Он шагнул вперед и изо всех сил толкнул стоявшего поблизости молодого рабочего так, что последний, зашатавшись и откачнувшись назад, упал среди матросов. Один из матросов заботливо поднял его.

Молодой рабочий этот был — я.

Я принялся жестоко ругаться, но загорелый, как медь, юноша стал с отеческим видом меня успокаивать.

— Тише, тише, братишка! Только не волноваться! Не нужно выходить из себя!..

И вот я оказался в рядах синих, словно принадлежал к ним. Я был спокоен, как они, но на моем лице не было такой, как у них, беззаботной улыбки.

Когда унтер-офицер понял, что вся эта история вовсе не близится к концу, он решил перейти в наступление.

— Я предлагаю вам немедленно сдать оружие! — снова закричал он.

Матросы рассмеялись еще громче.

— Но мы вовсе не согласны исполнить ваше желание, — сухо произнес загорелый юноша, закуривая папиросу.

Теперь смех перекинулся и в ряды рабочих.

Унтер-офицер рассвирепел. Он выстроил своих людей в один ряд поперек улицы. Солдаты держали ружья наперевес. Рабочие в напряженном ожидании еще больше отодвинулись в сторону.

— Целься! — скомандовал унтер-офицер.

Дуло одного ружья приподнялось, целясь в ряды матросов. Остальные девять винтовок остались опущенными, словно команда не имела к ним ни малейшего отношения.

Унтер-офицер был в ужасе.

— Целься!.. — во второй раз еще громче крикнул он.

Но девять винтовок не шелохнулись и дула их мирно продолжали быть направленными вниз.

Воцарилась мертвая тишина.

Медленно опустилась и последняя верная государю и отечеству винтовка.

Рабочие снова засмеялись. Смеялся и я, так как мне за минуту до этого было все же чуть-чуть неприятно глядеть прямо в пустое дуло винтовки. Теперь воздух снова был чист и можно было дать волю своей радости.

Непонятным и даже несколько жутким казалось мне только спокойное поведение матросов. Неужели они действительно были склонны позволить безнаказанно оскорблять себя.

Но мое беспокойство скоро нашло себе выход. Загорелый матрос, внезапно выступив вперед, резко скомандовал:

— На-прицел!

Пятнадцать винтовок, слившись в одном движении, поднялись вверх. Пятнадцать ружейных дул направилось

прямо на унтер-офицера. Он побледнел, словно повинуясь команде.

— Стой! Не стрелять! — закричал один из ландштурмистов. — Этого мы не можем допустить!

— Тогда и вас постигнет та же участь!

Винтовки направились на ландштурмистов.

— Сдавай оружие! — крикнул загорелый.

Десять винтовок и один револьвер полетели на мостовую.

Затем загорелый произнес краткую речь:

— Товарищи! Не обижайтесь на то, что так случилось. Ничего страшного с вами случиться не может, и терять вам особенно нечего. Позорное кровопролитие кончилось. Кончилась война! Ужасная это была штука! А мы в ней до сих пор все принимали участие. Верю, что и вы сыты по горло этой мерзостью. Чорт возьми! Я бы пожалуй не согласился так вот, как вы, день и ночь выделывать порох. Но теперь все будет по-другому. Мы весь старый хлам перевернем вверх ногами. Бояться вам больше нечего, старые товарищи! Издевательствам над солдатами теперь тоже конец. Скажите вашему начальнику, что справиться с шестнадцатью вооруженными матросами — нелегкая штука. И затем можете ему еще передать, чтобы он складывал свои чемоданы. Завтра ему, надо думать, придется отправиться «попутешествовать». Мне кажется, что завтра рано утречком отходит его поезд. Завтра вообще отойдет поезд многих важных господ. Они все получат бесплатные билеты. А пока-что отправляйтесь-ка домой. Желаю вам спокойной ночи. Завтра утром верно придется повстречаться!

Затем матросы построились. А рабочие бросились к валявшимся на мостовой винтовкам. Загорелый, темный как медь юноша протянул мне револьвер. Холодная сталь тяжело легла мне на руку. Впервые в жизни держал я в руке такую штуку...

А затем... затем я вместе с матросами и большим числом рабочих размеренным военным шагом направился вниз, в рабочую слободку. Это был мой первый переход и было

это вечером восьмого ноября тысяча девятьсот восемнадцатого года. Германия в этот день уже вся была охвачена ярким пламенем. А я даже и не подозревал еще об этом всепожирающем огне. Не знал я также, что такое предательство. Но во мне жило инстинктивное сознание, что переживаемые дни — начало новой эры, даже если они принесут плоды не сейчас, а только через годы. Когда-нибудь новое должно победить. В этом не могло быть сомнений. Великое дело пролетариата должно было требовать и великих жертв... И вот я в рядах матросов вступил на тяжкий, но победоносный революционный путь!

«Теперь милитаризация проникает собой всю общественную жизнь. Империализм есть ожесточенная борьба великих держав за раздел и передел мира, — он неизбежно должен поэтому вести к дальнейшей милитаризации во всех странах, и в нейтральных и маленьких. Что же будут делать против этого пролетарские женщины? Только проклинать всякую войну и все военное, только требовать разоружения? Никогда женщины угнетенного класса, который действительно революционен, не помирятся с такой позорной ролью. Они будут говорить своим сыновьям: «Ты вырастешь скоро большой. Тебе дадут ружье. Бери его и учись хорошенько военному делу. Эта наука необходима для пролетариев — не для того, чтобы стрелять против твоих братьев, рабочих других стран, как это делается в теперешней войне, и как советуют тебе делать изменники социализма, — а для того, чтобы бороться против буржуазии своей собственной страны, чтобы положить конец эксплуатации, нищете и войнам, не путем добреньких пожеланий, а путем победы над буржуазией и обезоружения ее».

В. И. Ленин «Военная программа пролетарской революции». Собр. соч., т. XIX, стр. 328.

ЖЕНЩИНЫ

Рассказ Берты Ласк

Тусклый свет керосиновой лампы упал на лицо портовой работницы Анны Меллер. Сухая кожа плотно обтягивала ее узкие скулы. Синеватозеленые глаза под темными дугами бровей поблескивали, словно граненое стекло. Короткими отрывистыми движениями натянула она поверх ситцевого платья заштопанное и заплатанное пальто, обвязала платком голову и взяла в руки, чтобы не производить лишнего шуму, кожаные сапоги с деревянными подошвами. Торопливо выпила она несколько глотков какой-то остывшей коричневой бурды и откусила кусочек темного и склизкого от примеси репы хлеба. Затем, держа в руках ломоть хлеба, она потушила лампу и тихонько вышла на лестницу.

Ступеньки лестницы заскрипели. Кое-где стукнули открывающиеся и закрывающиеся двери. Из ворот похожего на казарму дома вышли на улицу, еще тонувшую в предрассветном сумраке, шесть женщин работниц. Мокрый снег мягко касался их лиц, отгоняя последние остатки сонливости. Настороженно и внимательно впивались взоры женщин во мрак плохо освещенных улиц.

Из боковой улицы выходит новая группа женщин. В спокойных глазах Анны Меллер вспыхивает огонек радости: они идут, они сдержали слово. Чуть слышный возглас, брошенное на ходу слово привета... На мгновение черный рой сливается воедино. Затем, разбившись на мелкие группы, женщины идут дальше: чем ближе к порту, тем гуще становятся группы. Внезапно поднявшийся резкий ветер гонит по сумеречным улицам к порту надувшиеся темные паруса с женскими головами.

Анна Меллер вытягивает шею, заслоняет рукой глаза от света, которого нет. Черная масса там вдали... да, это они! Резкий повелительный возглас зигзагом проносится по рядам вздутых парусов. Приветливо машут поднявшиеся над встречной толпой руки. Жены бастующих рабочих все налицо!

Явилась и старуха Шультен с одиноко болтавшимся среди обнаженных десен остатком последнего зуба. Кожее похожа на платок, который бесконечно часто складывался. Цвет этой кожи почти сливается с цветом ее поблекших глаз. На войне погибло трое ее сыновей. Четвертый из них работает в порту и находится в числе бастующих. Анна протягивает старухе руку и тут только замечает, что у нее в руке что-то зажато. Это кусок хлеба весь смокший от снега. С жадностью подносит она его ко рту. Голод внезапно мучительно впивается в ее внутренности. Старуха Шультен, прищурившись, пристально глядит на хлеб. Анна отдает ей половину. Обе женщины старуха и молодая, стоят друг подле друга, жуют хлеб и ждут. Все ждут чего-то; стоят, изредка только шопотом переговариваясь.

Там позади... да... да, там кто-то идет... Темный силуэт приближается... Это старик с небольшим мешком за спиной. За ним идут еще трое, устало волоча ноги... А за ними вдали показывается приближающаяся твердыми, словно вызывающими, шагами, толпа привезенных из другого города штрейкбрехеров.

Женщины устраивают цепь, стоят, держась за руки, образуя четыре плотно сомкнутых ряда. Они стоят молча, не произнося ни слова. Старуха Шультен только однажды огляды ается, чтобы посмотреть на стоящих позади нее женщин. Глаза ее, полуприкрытые складками сморщенной кожи, вспыхивают, словно заново зажженные.

Колонна штрейкбрехеров приостанавливается. Один из рабочих отпускает грубую остроту. Она как-бы служит сигналом: град бранных эпитетов обрушивается на колонну... «Штрейкбрехеры!.. Негодяи!.. Подлецы!.. Предатели... Живыми вы не доберетесь до порта!»

— Эй, вы, бабы! Образумьтесь! Нужно произвести погрузку!

— Ах, вы, болваны пустоголовые! Сволочи! Скоты! Мы вас научим грузить! Всюду объявлена забастовка! Война должна кончиться! Мужья должны, наконец, вернуться домой! Нам нужен хлеб!..

Старики молча, волоча ноги, сворачивают в переулок и уходят, не оглядываясь назад. Остальные стоят в нерешительности. Ряды понемногу редеют. Несколько смельчаков неожиданно выходят вперед и наступают на женщин, пытаясь прорвать переднюю цепь. Но цепь не подается. От насмешливого хохота женщин дрожат серые фасады домов.

Колонна штрейкбрехеров откатывается назад. Она движется уже не сомкнутыми рядами, и шаг ее больше уже не кажется вызывающим. Вяло опустив головы, бредут они по растаявшему снегу.

Улица снова пуста. Вблизи собралась лишь небольшая кучка любопытных. Женщины глядят друг на друга. По изможденным, похудевшим от голода лицам скользят красные пятна. Глаза горят лихорадочным огнем. Какая-то широкобедрая, полная женщина, упершись руками в бока, разражается резким хохотом: — Ах, паршивцы они, такие да этакие! Нам следовало им морды расквасить!

— Не расходиться!.. Кто знает, что еще будет!

Словно главнокомандующий стоит Анна Меллер перед толпой женщин.

Ожидание длится недолго. Вдали показывается нечто сомкнутое, плотное, поблескивающее холодным блеском. Островерхие каски, шашки... Впереди — долговязый лейтенант.

— Разойдись!..

Цепь стоит неподвижно.

— Разойдись!..

— Здесь не пройдет ни один штрейкбрехер! — звучит ответ.

— Забастовщики хотят прорвать наш фронт, там, на позициях! — картавит лейтенант.

— Наш фронт никому прорвать не удастся!..

Вытянувшись как струна стоит Анна Меллер. В глазах ее — надвигающаяся буря.

— Неужели вы хотите впустить в пределы страны врага?

— Враги и так давно уже внутри страны! Вот они!

Эти слова выкрикивает старуха. Шультен и костлявым пальцем указывает на полицейских.

Команда. Шашки свистя вылетают из ножен. Анна медленно погружается в мягкую, темную глубину. Проходит вечность... или быть может одна секунда, и она снова всплывает на поверхность... Кругом свист, щелканье и резкие, как молния, вспышки огня. Анна страшным усилием воли собирает все свои силы. Только бы не умереть сейчас!.. Еще хоть несколько мгновений!.. Прежде чем умереть, нужно выиграть забастовку...

— Забастовка!.. — вырывается крик из окровавленного отверстия ее рта. И снова мрак...

Полиции не скоро еще удалось справиться с бабами...

«Угнетенный класс, который не стремится к тому, чтобы научиться владеть оружием, иметь оружие, заслуживал бы лишь того, чтобы с ним обращались, как с рабами. Не можем же мы, не превращаясь в буржуазных пацифистов или оппортунистов, забыть, что мы живем в классовом обществе, и что из него нет и не может быть иного выхода, кроме классовой борьбы и свержения власти господствующего класса».

Ленин «О лозунге разоружения». Соб. соч. т. 19, стр. 315.

ШТРЕЙКБРЕХЕР

Из романа «Тисса шумит» Бела Илеш

— Слушай, Петр, — сказал Гайош, — сегодня нами еще до обеденного перерыва будет объявлена стачка. Ты участия в стачке не примешь!

— Т. е. как это не приму? — почти закричал я от неожиданной обиды.

— Выслушай меня, — остановил меня Гайош, улыбаясь.— Ты и еще десять товарищей не примете участия в забастовке. Вам будет поручена очень ответственная задача. Комендант станции несомненно командирует солдат для выполнения оставленной нами работы. Вы сделаете вид, что являетесь штрейкбрехерами и примете участие в работе. При этом вы создадите на станции такую путаницу, которую не сумеет распутать сам господ бог. Понял?

— Понял! Ну, а затем?

— Затем? Затем комендант выгонит вас к чорту, или, возможно, прикажет арестовать.

В мастерской все было поставлено вверх дном. Ночью полицией было произведено несколько обысков на квартирах рабочих. Четырнадцать человек было арестовано: девять железнодорожных рабочих, пять с химического завода, среди последних и Щерек.

На площади перед вокзалом (как раз против окон квартиры начальника станции), неожиданно организовался митинг. Первым выступил один паровозный машинист, после него говорил Гайош. Вчера еще люди даже с глазу на глаз не осмелились бы шопотом говорить о тех вещах, о которых они сейчас громко говорили в присутствии четырехсот с лишним слушателей.

— Мы по горло сыты войной!

— Мы не желаем больше голодать!

— Русские товарищи предлагают нам мир! Мир! Мы желаем заключения мира!

Гайош по бумажке прочел список требований рабочих. Толпа громкими криками выражала свое одобрение. Не кулаки — молоты и тяжелые железные прутья поднимались высоко вверх.

Въезд на станцию не был свободен. Вдали на путях пронзительно выла паровозная сирена, требуя пропуска поезда с военным грузом. Ни начальника станции ни военного коменданта не было видно. Во время речи Гайоша к вокзалу на своем автомобиле подъехал Немеш. После Гайоша с речью выступил Немеш. Он застегнул до самого ворота свое длинное черное зимнее пальто, но снял шляпу

и несколько раз во время речи вздымал к небу руки — точь в точь как священник на амвоне.

— Товарищи!

Голос Немеша выражал мольбу, казалось, он готов заплакать. Но голос его становился угрожающим, как только речь его прерывалась криками с мест.

— Долой войну!

— Мы желаем мира!

— Да здравствует русский пролетариат!

— Если мы действительно хотим добиться всеобщего избирательного права, — уже в третий раз начал Немеш одну и ту же фразу, но и в третий раз ему не дали договорить ее до конца.

— Мы желаем мира! — кричали со всех сторон. — Пример русских товарищей...

— Пример русских товарищей? — с бешенством завопил Немеш. — В этом примере нужно уметь разобраться и тогда только о нем можно будет говорить! Ваш большевизм, товарищи, просто ребяческий недозрелый хлам...

Площадь, на которой мы толпились, была покрыта снегом. Снег был серый и грязный от дыма и копоти паровозов. Жесткие рабочие руки мяли в руках мягкий грязный снег, превращая его в жесткие твердые комья. Пять-шесть комьев полетели в сторону Немеша, ударили об его грудь, о круглое брюшко. Один ком попал ему в правый глаз, другой залепил его широко открытый рот.

— Мира! Мы желаем мира!

Когда Немешу с трудом удалось, наконец, удрать, место его занял невысокий, горбатый человечек.

Я не знал, кто это такой. Он говорил хриплым голосом, но говорил нашим языком. Сначала он обрушился на верховное командование — господа генералы не желают мира, они стремятся удушить русскую революцию. Затем он заговорил о руководящих слоях социал-демократической партии, наносящей удары в спину рабочего класса, борющегося за заключение мира.

— Но пусть предатели рабочего класса делают все, что им угодно: рабочие Вены, Будапешта, Праги и Львова не

попадутся к ним на удочку. Они сложат свои инструменты, они не дадут больше изготовлять ни винтовок ни снарядов, они не будут поставлять хлеба тем, кто собирается итти войной против русских товарищей!

С воодушевлением подхватывали мы слова маленького горбатого человечка и... не заметили, как вокруг вокзала все теснее смыкалось кольцо жандармов.

В то время как маленький горбун произносил свою речь, делегаты рабочих направились в комендантское управление. Они предъявили требование немедленного освобождения арестованных, увеличения пищевого пайка, введения восьмичасового рабочего дня и права созыва собраний и конференций в помещении предприятий.

— Товарищи! — объявил Гайош по возвращении от коменданта. — Комендант отклонил все наши требования. Он грозил, если вы немедленно не приступите к работе, предать всех двенадцать человек делегатов военному суду, а вас отправить в армию.

Это заявление было встречено криками возмущения.

— Ни единого движения больше в помощь наглым хищникам!

— Мы все оставляем работу!

Через четверть часа во всем здании вокзала оставалось всего лишь девятнадцать человек... девятнадцать штрейкбрехеров. Здание со всех сторон было окружено жандармами.

Никогда еще не работал я с таким усердием, как в то утро, когда я играл роль штрейкбрехера. На станции стояло четыре готовых состава, ожидавшие паровозов. Мы, штрейкбрехеры, даже не сговариваясь заранее, немедленно принялись перегонять вагоны этих поездов с одних путей на другие. Груженые снарядами вагоны мы втиснули между вагонами санитарного поезда и поезда, предназначенного для отправки продовольствия. Мы всюду, где только было возможно, отцепили вагоны друг от друга и несколько вагонов передвинули на подъездной путь. Жандармы следовали за нами по пятам, следя за каждым нашим шагом. Появился даже сам комендант станции и

похвалил нас за усердие. По его распоряжению нам были выданы сало, хлеб, водка и табак.

Около полудня сигнализируют о приближении военного эшелона. Главный подъездной путь забит вагонами. Поезду пришлось в течение полутора часов простоять за пределами станции.

Наш военный комендант, уже год как произведенный в полковники, сыпал проклятиями и угрозами. Комендант поезда требовал, чтобы в его распоряжение был предоставлен караул, так как предназначенные к отправке на фронт солдаты проявляют явную склонность к дезертирству. Мы работали в поте лица своего. Полковник позвонил по телефону коменданту города, но к моменту, когда пришел присланный караул, оказалось, что на путях скопилось уже три военных эшелона, из которых солдаты дезертировали за милую душу. Полковник неистовствовал от бешенства и в конце концов приказал арестовать всех девятнадцать штрейкбрехеров.

Нас отправили в город под охраной шестнадцати солдат.

Они построились вокруг нас по всем правилам искусства: четверо солдат шагали впереди, четверо — справа, четверо — слева от нас и четверо — позади. Конвоем командовал капрал.

На улицах у лавок, торговавших продуктами питания, в бесконечно длинных очередях стояли женщины. Рабочие с химического завода были также уже на улице. По пути к нам присоединилась целая толпа — мужчины, женщины и дети.

— Мы хотим мира! Да здравствуют солдаты! Отпустите солдат домой!

Вход в казарму был занят отрядом жандармов.

— Долой жандармов! Отправьте их на фронт! Да здравствуют солдаты!

Меня заперли в большую полутемную комнату. В ней сидело уже четверо арестованных — это были солдаты.

Не успела дверь закрыться за мной, как ее уже снова распахнули: привели трех рабочих.

— Революция началась! — сообщили они нам.
— Народ разграбил склады оружия!
— Солдаты освободят нас!..

МОЛОДЕЖЬ

Из книги «С Розой Люксембург и Карлом Либкнехтом». Из-во «Молодая Гвардия», Берлин

Уже три года, как чудовище войны неистовствуя носилось над Европой, и все еще не видно было конца, кровополитию. Ежедневно в ряды армии призывали все новых и новых юношей, едва вышедших из детского возраста. Никто не делал ни шагу, чтобы приостановить творящиеся кругом ужасы. И вот тогда, наконец, Свободная социалистическая молодежь решила организовать 1 Мая во всех больших городах демонстрации — против империалистической хищнической войны и за социальную революцию.

Мы, молодежь города Галле, — также готовились к демонстрации. Мы хотели при этом попытаться склонить и взрослых рабочих к тому, чтобы они оставили работу и прошлись вместе с нами по городу.

Украсив свою грудь старыми первомайскими значками, мы промаршировали по улицам города. Во время обеденного перерыва мы организовали демонстрацию в районах фабрик и заводов, при чем нами усердно велась пропаганда среди рабочих. Молодежь мы приглашали встретиться с нами на загородной площади, чтобы затем провести грандиозную городскую демонстрацию. К назначенному времени на площади действительно собралось около семисот юношей и девушек. Такого большого числа мы даже не ожидали.

Сомкнутыми рядами, под пение «Интернационала», двинулись мы через рощу по направлению к Брандбергу. Там, среди уже сгущавшихся сумерек, товарищ Карл

Бекер, взобравшись на дерево, произнес пламенную речь, в которой он, ссылаясь на пример русской революции, призывал германскую молодежь итти тем же путем.

Все такими же стройными рядами с горящими факелами в руках направились мы затем через Креллвиц, по Бургштрассе в Народный Парк. Красным пламенем вспыхивали факелы. Из окон выглядывали испуганные лица обывателей. Полиция трижды пыталась рассеять процессию, появление которой явилось для нее повидимому неожиданным. Но ряды каждый раз снова смыкались, и демонстрация продолжала двигаться вперед.

Придя в Народный Парк, мы увидели сидящих там несколько сот товарищей по партии с женами и несколько представителей профсоюзов. Они выглядели словно побитые собаки — обычные ежегодные первомайские собрания были в этом году воспрещены. Но они все терпели молча и покорно. Надо думать, что в тот вечер, глядя на проходивших мимо юношей и девушек с блестящими от воодушевления глазами и разгоряченными лицами и прислушиваясь к их боевым песням, многие из них почувствовали горький стыд за свою жалкую никчемность. На несколько мгновений Народный Парк стал олицетворением страстной демонстрации протеста против хищнической войны и за социальную революцию...

Мы направились дальше в тюрьму Кирхтор и там громкими криками приветствовали сидящих в тюрьме политических заключенных. Только тогда, когда демонстрация приблизилась к Марктштрассе, полиции удалось окончательно рассеять ее и арестовать несколько человек из молодежи, участвовавшей в ней.

Долго еще после этого в наших рядах царило горячее хотя и скрытое воодушевление, и никто из нас никогда не забудет этого нашего славного дня во время войны.

Первая революция, порожденная всемирной империалистической войной, разразилась. Эта первая революция, наверное, не будет последней.

Ленин «Письма издалека», 20 III 1917 года, Собр. соч. т. 20, стр. 13).

ВПЕРЕД НА ЦАРСКИЙ ПЕТЕРБУРГ!

Тарасов-Родионов «Февраль»

...Шипя разлезается железная колкая стыль от несметной ползущей, орущей, палящей, бунтующей солдатской лавины, неудержимо несущейся по шоссе через морозные иглы ветров, через лунную плесень в бой, в бой! в бой!!!— на далекий, закованный в латы чугуна и гранита, самодержавнейшей Питер. С шумом падают бесконечные черные толпы в провалы, растекаются по снежным болотам, уснувшим в мохнатых чащах елей и сосен. Глуше и чаще чавкают здесь винтовки по убегающим кустами, оврагами, кочками малодушным. Вздымаются толпы на взгорья, словно гигант Змей Горыныч, отливая при свете луны чешуею штыков. Мимо серебрящихся месяцем окартоненных дачек-домиков, мимо садов с застывшими в ужасе острыми ресницами инея, мотаясь закуржавелыми волнами папах, визжа о снега закостенелостью тысяч сапог и пулеметных катушек, рушат и раздирают просторы ружейные вздохи. Мелкий пылистый снег блестит и прячет в мельчайшую сетку петергофские парки. Мертвый мрамор дворцовых статуй глубже зарывается в снег от неслыханной дерзости воплей:

— Вылетай!.. Вылетай!.. Вылетай!..

— Будя! Повоевали!..

— ...Товарищи, мы вам сочувствуем, но...

— Вылетай!.. Вылетай!.. Вылетай!..

Хохочет на небе голубая луна, когда по задворкам, судорожно отстреливаясь из-за поленниц, разбегаются в лес юнкера. Заливают веселою трелью по ним пулеметы. Звоном рассыпающихся казарменных окон радостно просыпается

третий запасный. Жалкие хлопки офицерских револьверов захлебнулись в торжествующем грохоте новых взлохмаченных тысяч.

Вылетай!.. Вылетай!.. Вылетай!..

Небо пухнет от ружейных восторгов. Гремя зарядными ящиками на саженных колесах, в блеске факелов, с криками, с храпом коней, вырывающихся за постромки, выезжают одна за другой батареи.

— Ур-р-ра-а а!!. Ур-р-ра-а-а!!!

Хайластые пушки прыгают, сверкая при месяце жирной чернотою широких стволов.

— Будя! Повоевали!..

— Бей офицеров! На Питер! В бой!

— Долой-ой вой-н-у!!.

Серые мещанские домишки на улицах судорожно зажмурились от невиданной жути. В ужасе оголили бездонные черные окна накрахмаленные дворцы.

— Плюнь им в зенки!..

И оружейные плевки шлепают и застывают на них белесыми круглыми пятнами.

Отщелкивая отгул в дощатых курятниках, прогрохотал где-то рядом полуночный поезд. Тоже на Питер. Кто в нем едет? Не предупредят ли о нас? Не встретят ли нас где-нибудь из-засады в пути, не дав развернуться? Предусмотрено ли нами все это? Кто нас ведет? Где командиры? Кого ни спроси — никто толком не знает. Вокруг уже попривыкли, что среди них — офицер. Все ласково улыбаются, а солдаты нашей команды так даже чванятся:

— Наш поручик...

Так что — в случае подавления — расстрел обеспечен. Только из первого пулеметного им возражают:

— Что ж, и у нас есть два прапорщика... впереди.

Но как же обогнать эту плотную реку, туго бурлящую по шоссе? Эх, если б коня?!

— Ребята! Поручику надобна лошадь! Расстарайся!

— Лошадь!

— Ребята! Ищите!

— Лошадь!

Нашему офицеру!..

— Ему надобно!..

— Лошадь!

— Беспременно! С седлом!

— Сейчас расстараемся...

— Лошадь!

— Вот постойте, сейчас будет Стрельня...

Впереди — снова крики, стрельба, вой безумных восторгов.

— Ребята!..

— Второй пулеметный!

— Стрельня восстала!

— Второй пулеметный!

— Восемь тысяч!..

— Второй пулеметный!..

— Ур-р-ра-а-а!!.

Ноги окоченели. Сапоги — как лубок. Скрипит кожухами мороз.

— Ваше высокоблагородие! — это Ржавцев. — Отогреться бы малость!. А то мы смотрим — вы закоченели...

Залезаем в какой-то домишко. Горница — внабой. Должно быть, где-то посредине, на столике дохнет от духоты керосиновая лампа. Неуклюжие тени мечутся по стенам и ломаются у потолка. Густой аромат переобуваемых портянок и махорочный горлодер перехватывает дух. В полутьме гудит оживленный солдатский говор.

— Мы, значит, к им в красны казармы: «Выходи!» А они с перепугу — под лавки да под нары. Поставили тогда мы два пулемета на воле у обеих дверей, да и наставили их, как собак, на луну. Как пошли ими строчить, а сами кричим: «Все равно, вылетай, а то перекрошим!» Только этак весь полк подняли. Кабы не офицерье проклятое, у нас, может, никого убитых бы не было.

— Из команды мастеров-оружейников, что ли? — приветливо заговариваю я, словив недоверчивый взгляд.

— Путиловские мы. Недавно вот нас мобилизовали и сразу же к вам в Оранбаум, в оружейную мастерскую...

Эх, попадись нам сейчас штабс-капитан Борщевский или, гнида эта, прапорщик Шерстнев!.. — и путиловец дико хрустнул челюстями на крепком скуластом лице.

— И у нас тоже стерва, слыхали, чай? Полковник Жерве! — вставил солдат, весь обверченный пулеметными лентами. — Раздавить мало гадину! Он в офицерском собрании в Аренбауме засел и давай по нас крыть с офицерами своими. Наложили нашего брата, что дров...

— Ребята! — врывается крутящимся паром звонкий восторженный гам. — Второй пулеметный весь целиком к нам перешел и командир ихний полковник Шереметьев!..

— Ур-р-а-а!!! — взрываются стены домишка.

Лампа тухнет. И с бешеным ревом, содрогая дрожащие окна, грохоча сапогами за дверь, растет, огромнеет, ширится неохватная светлая радость простых землеробных сердец. На синих, замерзших, освещенных луною окошках проходят какие-то тени. Неровные ряды штыков, переламываясь в льдистости окон, качаясь, попадают за стену. И идут, и идут, и идут...

— Здесь поручик? Коняку я им здобував!

Это — Куприй.

— Лошадь вам привезли! — радостно тянет меня за рукав Шеншин. — Лошадь вам, господин поручик.

Просто этак, безо всяких там «высклабародий», — «господин поручик».

— А может быть, можно и не «господин», а «товарищ»? — с робкой обидцей спрашиваю я.

— Ну, конечно ж, товарищ!.. — и вспыхнувши Шеншин крепко тискает мне впотьмах офицерскую руку.

Белая лошадь в английском седле.

— Где достал?

— Во втором пулеметном. Из офицерских. Которые поостались, которые поездом поехали...

Поездом поехали? В Питер? Присоединились к нам, а сами поехали в Питер?.. Ничего не понимаю.

Пришпоривая тугомордую лошадь, с трудом продираюсь вперед. Надо все время кричать:

— Сторонись!.. Сторонись!.. Товарищи, сторонись!..

От обители Сергиевской пустыни пахнуло лампадностью масла, засохшими градинками раболепных поклонов... Вспомнился Фенькин.

— Ишь, долгогривые, позаперлись! — гогочут солдаты.

— Все, значит, рай нам у небесных царей обещали.

— Ну, их в ж... всяких царей с ихними раями!

— Небо не вспашешь. Дали б землицы, мы бы и здеся свой рай понаделали б...

— Уж больно изнуждался народ...

— Теперь мы потребуем. Государственая дума нам даст...

— Разевай рот пошире!.. Дадут там тебе Шинкаревы! Получишь землю с шинкарей!..

— Сем, грю, измагдались мы...

— Да, бытность тяжелая...

— Не горюй, товарищок. Судьба не баба — слезой не возьмешь...

— Сторонись!.. Сторонись!.. Товарищи, сторонись!..

Да будет ли где голова у этой бесконечной, десятки верст расползшейся лавины?.. Вот уже и Лигово. Лигово деревянных клетушек, парных вздохов в коровьих хлевах, Лигово киснущей теплоты в грязных перинах. Серенькая пасмурь рассвета укачивает засыпающую луну. Кричат петухи. Холодно стегают по потеплевшему воздуху винтовочные выстрелы. Да это — голова. Несколько пулеметных двуколок говорливо болтают расхлябанными колесами. На одной из них, подвязанный на шесте, колышется родной красный флаг. Несколько всадников едут гурьбой. Среди них хмурый чернявый солдат со свеже-забинтованной ногою и два прапорщика. Один кругленький, востроносый, в башлыке, с маленькими глазками. Другой коренастый, с поднятым воротником, в очках и с бородкой.

Из-за поворота выглянул сразу надвинувшийся горизонт Петербурга. Желтосерое небо колыхалось волнами, бросая на нас свой мерцающий свет. Наши лица то наливались, как спелая репа, то серели и тускли, как пепел.

— Горит — сказала бородка.

— Горит, — подтвердил солдат и поправил забинтованную ногу.

— Григорий! — сказал кто-то сзади. — Григорий!..

На вспотевшей взлохмаченной лошади подлетел тощий в несуразной шинели солдатик. Его впалые черные глаза, казалось, сияли упрямым восторгом чахоточной смерти.

— Григорий! В Питере восстали войска! Полки один за другим переходят на сторону рабочих! Правительство заперлось в Адмиралтействе! На улицах пальба! Арсенал взят! Горят Окружной суд и Литовский замок! Наш здешний парень... сейчас лишь из Питера...

— Да здравствует пр-ролетарская р-революция! — побагровев, заревел, привстав в стременах, прапорщик с бородкой, и очки его запотели.

Ур-р-ра-а-а-а!!. рра-раа-а-а!!. — понеслось, покатилось, погрохотало.

— «Заперлись»?! — привскочил я в седле и зачем-то выхватил саблю. Ах, так вот когда он наступил, наконец столько лет долгожданный праздничный день упоенья! Неужели оказался прав Ленин?!. «Через год, через два или десять, но...». Да. Через десять!.. О, дорогой наш, кровью, слезами, цепями, выстраданный Питер! Вот он сияет перед нами, то вспыхивая, то замирая, и упрямо отчетливятся на его облаках длинный, высокий железный скелет путиловской верфи и подъемные краны. Воздух теплеет и загорается в облаках тысячами солнц над изумрудносиреневыми садами душистых сказок. Нет больше господ, все люди — братья!

— Вперед!.. Вперед!.. Вперед!..

Город сказочных солнц, мы тебя завоюем!..

Коммунисты считают излишним скрывать свои взгляды и намерения, они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного ниспровержения всего современного общественного строя».

Из коммунистического манифеста

ИЗ ПЕРВОГО УСТАВА КОМИНТЕРНА

Написан при ближайшем участии В. И. Ленина и принят Вторым всемирным конгрессом Коминтерна

«III Коммунистический интернационал сложился в момент, когда заканчивалась империалистическая война 1914—1918 гг., в которой империалистическая буржуазия различных стран принесла в жертву 20 миллионов человек...

«— Помни об империалистической войне! — вот первое, с чем обращается Коминтерн к каждому труженику, где бы он ни жил, на каком бы языке ни говорил. Помни о том, что, благодаря существованию капиталистического строя, небольшая горсточка капиталистов имела возможность в течение 4 долгих лет заставлять рабочих различных стран резаться между собой. Помни о том, что буржуазная война ввергла Европу и весь земной шар в страшнейший голод и нищету. Помни о том, что без свержения капитализма, повторение таких разбойничьих войн не только возможно, но и неизбежно».

БУРЖУАЗИЯ ГОТОВИТ НОВЫЕ ВОЙНЫ...

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Предисловие 3
Из манифеста базельского социалистического конгресса 24 и 25 ноября 1912 г. 11
Из манифеста ЦК РСДРП от 1 ноября 1914 г. 11

I. Казарма во время империалистической войны

Муштровка — Георг фон-дер-Врринг (перев. В. С. Вальдман). . . 14
Сержант Гиммельштос — Э. М. Ремаркэ (пер. В. С. Вальдман) . 16
Приказ лейтенанта — Джон Дос-Пассос (пер. В. С. Вальдман) . 22
Дуэль под Дрезденом — Эрих Кестнер (перев. В. Вальдман) . . 25

II. На полях сражений

Десять миллионов трупов — Леонард Франк 34
Подвиг — Мих. Шолохов 35
Германия, Германия — Людвиг Ренн (перев. В. Вальдман) . . . 41
Ужас — Э. М. Ремаркэ (перев. В. Вальдман) 45
Гора «Четырех ветров» — Бернг. Келлерман (перевод под редакцией Ф. Фриче) 60
Вперед — Ярослав Хашек (перев. В. Вальдман) 62
Поле смерти — Д. Фурманов 65
Серые волны 67
Мертвый лазарет — Клаус Нейкранц (перев. В. Вальдман) . . . 68
Заживо погребенные — Эрнст Иогансен (перев. В. Вальдман) . 71
Рука — А. Фрей (перев. В. Вальдман) 74
Противогаз — Ганс Мархвитц (перев. В. Вальдман) 76
Летчики.— А. Фрей (перев. В. Вальдман) 80
Бой под Скагерраком — Теодор Пливьер (пер. Е. Троповского) . 83
Перед концом — Эрих-Мария Ремаркэ (перев. В. Вальдман) . . 88
Итоги — Э. Фоллксман 93

III. В тылу во время империалистической войны

В отпуску в Париже — А. Барбюс (перевод под редакцией М. Горького) 96
Сторговались — Лион Фейхтвангер (перев. В. Вальдман) 101
Из речи Карла Либкнехта 2 декабря 1914 г. 104
Смертью героя — Эрнст Глэзер (перев. В. Вальдман) 105

В тылу — Лион Фейхтвангер (перев. В. Вальдман) 110
Хищники — Мате Залка 116
Десять минут одиннадцатого — Э. Глэзер (перев. В. Вальдман) . 120
Берлин ночью в феврале 1918 г. — Б. Келлерман (перевод под редакц. Фриче) 125

IV. Нарастающий протест против империалистической войны и первые раскаты гражданской войны

Пехотинец Рейе — Арн. Вейс-Рютель (перев. В. Вальдман) . . 130
Тишка-вахлак — Войтоловский 165
Листовка 482 Жиздринского полка 170
Комендантская лавочка — Арнольд Цвейг (перев. Немирова) . . 170
Генерал — Бернг. Келлерман (перев. Крыленко) 175
Реформация — Бруно-Фогель (перев. В. Вальдман) 179
Письмо русского солдата с фронта 183
В военной тюрьме — Альберт Даудистель (перев. В. Вальдман) . 184
Пятница 1 февраля 1918 г. — Бруно Фрей 189
Последний рейд германского флота — Теодор Пливьер (перев. Е. Троповского) 191
Матросы пришли — Ганс Лорбер (перев. В. Вальдман) 195
Женщины — Берта Ласк (перев. В. Вальдман). 201
Штрейкбрехер — Бела Илеш (перев. В. Вальдман) 204
Молодежь — Из книги «С Розой Люксембург и Карлом Либкнехтом» 209
Вперед на царский Петербург — Тарасов-Родионов 211
Из первого устава Коминтерна 217

Цена 1 р. 20 к.

51355